

Золотая роза

Автор:

Константин Паустовский

Золотая роза

Константин Георгиевич Паустовский

Pocket-book

Константин Георгиевич Паустовский – выдающийся русский писатель, воспевший в своих произведениях Мещерский край и прикоснувшийся к основам народного русского языка. Нашумевшая «Золотая роза» – попытка постигнуть тайны литературного творчества на основе собственного писательского опыта и осмысления творчества великий писателей. Повесть основана на многолетних раздумьях художника над сложными проблемами психологии творчества и писательского мастерства.

Константин Паустовский

Золотая роза

Моему преданному другу Татьяне Алексеевне Паустовской

Литература изъята из законов тления. Она одна не признает смерти.

Салтыков-Щедрин

Всегда следует стремиться к прекрасному.

Оноре Бальзак

Многое в этой работе выражено отрывочно и, быть может, недостаточно ясно.

Многое будет признано спорным.

Книга эта не является ни теоретическим исследованием, ни тем более руководством. Это просто заметки о моем понимании писательства и моем опыте.

Важные вопросы идейного обоснования нашей писательской работы не затронуты в книге, так как в этой области у нас нет сколько-нибудь значительных разногласий. Героическое и воспитательное значение литературы ясно для всех.

В этой книге я рассказал пока лишь то немногое, что успел рассказать.

Но если мне хотя бы в малой доле удалось передать читателю представление о прекрасной сущности писательского труда, то я буду считать, что выполнил свой долг перед литературой.

Драгоценная пыль

Не могу припомнить, как я узнал эту историю о парижском мусорщике Жанне Шамете. Шамет зарабатывал на существование тем, что прибирал мастерские ремесленников в своем квартале.

Жил Шамет в лачуге на окраине города. Конечно, можно было бы обстоятельно описать эту окраину и тем самым увести читателя в сторону от основной нити рассказа. Но, пожалуй, стоит только упомянуть, что до сих пор в предместьях Парижа сохранились старые крепостные валы. В то время, когда происходило действие этого рассказа, валы были еще покрыты зарослями жимолости и боярышника и в них гнездились птицы.

Лачуга мусорщика приткнулась к подножию северного крепостного вала, рядом с домишками жестянщиков, сапожников, собирателей окурков и нищих.

Если бы Мопассан заинтересовался жизнью обитателей этих лачуг, то, пожалуй, написал бы еще несколько превосходных рассказов. Может быть, они прибавили бы новые лавры к его устоявшейся славе.

К сожалению, никто из посторонних не заглядывал в эти места, кроме сыщиков. Да и те появлялись только в тех случаях, когда разыскивали краденые вещи.

Судя по тому, что соседи прозвали Шамета «Дятлом», надо думать, что он был худ, остронос и из-под шляпы у него всегда торчал клочок волос, похожий на хохол птицы.

Когда-то Жан Шамет знал лучшие дни. Он служил солдатом в армии «Маленького Наполеона» во время мексиканской войны.

Шамету повезло. В Вера-Крус он заболел тяжелой лихорадкой. Больного солдата, не побывавшего еще ни в одной настоящей перестрелке, отправили обратно на родину. Полковой командир воспользовался этим и поручил Шамету отвезти во Францию свою дочь Сюзанну – девочку восьми лет.

Командир был вдовцом и потому вынужден был всюду возить девочку с собой. Но на этот раз он решил расстаться с дочерью и отправить ее к сестре в Руан. Климат Мексики был убийственным для европейских детей. К тому же беспорядочная партизанская война создавала много внезапных опасностей.

Во время возвращения Шамета во Францию над Атлантическим океаном дымилась жара. Девочка все время молчала. Даже на рыб, вылетающих из маслянистой воды, она смотрела не улыбаясь.

Шамет, как мог, заботился о Сюзанне. Он понимал, конечно, что она ждет от него не только заботы, но и ласки. А что он мог придумать ласкового, солдат колониального полка? Чем он мог занять ее? Игрой в кости? Или грубыми казарменными песенками?

Но все же долго отмалчиваться было нельзя. Шамет все чаще ловил на себе недоумевающий взгляд девочки. Тогда он наконец решился и начал нескладно рассказывать ей свою жизнь, вспоминая до мельчайших подробностей рыбацкий поселок на берегу Ла-Манша, сыпучие пески, лужи после отлива, сельскую

часовню с треснувшим колоколом, свою мать, лечившую соседей от изжоги.

В этих воспоминаниях Шамет не мог найти ничего такого, чтобы развеселить Сюзанну. Но девочка, к его удивлению, слушала эти рассказы с жадностью и даже заставляла повторять их, требуя все новых подробностей.

Шамет напрягал память и выуживал из нее эти подробности, пока в конце концов не потерял уверенность в том, что они действительно существовали. Это были уже не воспоминания, а слабые их тени. Они таяли, как клочья тумана. Шамет, правда, никогда не предполагал, что ему понадобится возобновлять в памяти это давно ушедшее время своей жизни.

Однажды возникло смутное воспоминание о золотой розе. Не то Шамет видел эту выкованную из почернелого золота грубую розу, подвешенную к распятию в доме старой рыбачки, не то он слышал рассказы об этой розе от окружающих.

Нет, пожалуй, он однажды даже видел эту розу и запомнил, как она поблескивала, хотя за окнами не было солнца и мрачный шторм шумел над проливом. Чем дальше, тем яснее Шамет вспоминал этот блеск – несколько ярких огоньков под низким потолком.

Все в поселке удивлялись, что старуха не продает свою драгоценность. Она могла бы выручить за нее большие деньги. Одна только мать Шамета уверяла, что продавать золотую розу – грех, потому что ее подарил старухе «на счастье» возлюбленный, когда старуха, тогда еще смешливая девушка, работала на сардинной фабрике в Одьерне.

– Таких золотых роз мало на свете, – говорила мать Шамета. – Но все, у кого они завелись в доме, обязательно будут счастливыми. И не только они, но и каждый, кто притронется к этой розе.

Мальчик с нетерпением ждал, когда же старуха сделается счастливой. Но никаких признаков счастья не было и в помине. Дом старухи трясся от ветра, а по вечерам в нем не зажигали огня.

Так Шамет и уехал из поселка, не дождавшись перемены в старухиной судьбе. Только год спустя знакомый кочегар с почтового парохода в Гавре рассказал ему, что к старухе неожиданно приехал из Парижа сын-художник – бородатый,

веселый и чудной. Лачугу с тех пор было уже не узнать. Она наполнилась шумом и достатком. Художники, говорят, получают большие деньги за свою мазню.

Однажды, когда Шамет, сидя на палубе, расчесывал Сюзанне своим железным гребнем перепутанные ветром волосы, она спросила:

– Жан, а мне кто-нибудь подарит золотую розу?

– Все может быть, – ответил Шамет. – Найдется и для тебя, Сузи, какой-нибудь чудак. У нас в роте был один тощий солдат. Ему чертовски везло. Он нашел на поле сражения сломанную золотую челюсть. Мы пропили ее всей ротой. Это во время аннамитской войны. Пьяные артиллеристы выстрелили для забавы из мортиры, снаряд попал в жерло потухшего вулкана, там взорвался, и от неожиданности вулкан начал пыхтеть и извергаться. Черт его знает, как его звали, этот вулкан! Кажется, Крака-Така. Извержение было что надо! Погибло сорок мирных туземцев. Подумать только, что из-за какой-то челюсти пропало столько людей! Потом оказалось, что челюсть эту потерял наш полковник. Дело, конечно, замаяли, – престиж армии выше всего. Но мы здорово нализались тогда.

– Где же это случилось? – спросила с сомнением Сузи.

– Я же тебе сказал – в Аннаме. В Индокитае. Там океан горит огнем, как ад, а медузы похожи на кружевные юбочки балерины. И там такая сырость, что за одну ночь в наших сапогах вырастали шампиньоны! Пусть меня повесят, если я вру!

До этого случая Шамет слышал много солдатского вранья, но сам никогда не врал. Не потому, что он этого не умел, а просто не было надобности. Сейчас же он считал святой обязанностью развлекать Сюзанну.

Шамет привез девочку в Руан и сдал с рук на руки высокой женщине с поджатыми желтыми губами – тетке Сюзанны. Старуха была вся в черном стеклярусе и сверкала, как цирковая змея.

Девочка, увидев ее, крепко прижалась к Шамету, к его выгоревшей шинели.

– Ничего! – шепотом сказал Шамет и подтолкнул Сюзанну в плечо. – Мы, рядовые, тоже не выбираем себе ротных начальников. Терпи, Сузи, солдатка!

Шамет ушел. Несколько раз он оглядывался на окна скучного дома, где ветер даже не шевелил занавески. На тесных улицах был слышен из лавчонок суетливый стук часов. В солдатском ранце Шамета лежала память о Сузи – синяя измятая лента из ее косы. И черт ее знает почему, но эта лента пахла так нежно, как будто она долго пробыла в корзине с фиалками.

Мексиканская лихорадка подорвала здоровье Шамета. Его уволили из армии без сержантского чина. Он ушел в гражданскую жизнь простым рядовым.

Годы проходили в однообразной нужде. Шамет перепробовал множество скудных занятий и в конце концов стал парижским мусорщиком. С тех пор его преследовал запах пыли и помоек. Он чувствовал этот запах даже в легком ветре, проникавшем в улицы со стороны Сены, и в охапках мокрых цветов – их продавали чистенькие старушки на бульварах.

Дни сливались в желтую муть. Но иногда в ней возникало перед внутренним взором Шамета легкое розовое облачко – старенькое платье Сюзанны. От этого платья пахло весенней свежестью, как будто его тоже долго держали в корзине с фиалками.

Где она, Сюзанна? Что с ней? Он знал, что сейчас она уже взрослая девушка, а отец ее умер от ран.

Шамет все собирался съездить в Руан навестить Сюзанну. Но каждый раз он откладывал эту поездку, пока наконец не понял, что время упущено и Сюзанна наверняка о нем позабыла.

Он ругал себя свиньей, когда вспоминал прощание с ней. Вместо того чтобы поцеловать девочку, он толкнул ее в спину навстречу старой карге и сказал: «Терпи, Сузи, солдатка!»

Известно, что мусорщики работают по ночам. К этому их понуждают две причины: больше всего мусора от кипучей и не всегда полезной человеческой деятельности накапливается к концу дня, и, кроме того, нельзя оскорблять зрение и обоняние парижан. Ночью же почти никто, кроме крыс, не замечает

работу мусорщиков.

Шамет привык к ночной работе и даже полюбил эти часы суток. Особенно то время, когда над Парижем вяло пробивался рассвет. Над Сеной курился туман, но он не подымался выше парапета мостов.

Однажды на таком туманном рассвете Шамет проходил по мосту Инвалидов и увидел молодую женщину в бледно-сиреновом платье с черными кружевами. Она стояла у парапета и смотрела на Сену.

Шамет остановился, снял пыльную шляпу и сказал:

- Сударыня, вода в Сене в эту пору очень холодная. Давайте-ка я лучше провожу вас домой.

- У меня нет теперь дома, - быстро ответила женщина и повернулась к Шамету.

Шамет уронил свою шляпу.

- Сузи! - сказал он с отчаянием и восторгом. - Сузи, солдатка! Моя девочка! Наконец-то я увидел тебя. Ты забыла меня, должно быть. Я - Жан-Эрнест Шамет, тот рядовой двадцать седьмого колониального полка, что привез тебя к этой поганой тетке в Руан. Какой ты стала красавицей! И как хорошо расчесаны твои волосы! А я-то, солдатская затычка, совсем не умел их прибирать!

- Жан! - вскрикнула женщина, бросилась к Шамету, обняла его за шею и заплакала. - Жан, вы такой же добрый, каким были тогда. Я все помню!

- Э-э, глупости! - пробормотал Шамет. - Какая кому выгода от моей доброты. Что с тобой стряслось, моя маленькая?

Шамет притянул Сюзанну к себе и сделал то, на что не решился в Руане, - погладил и поцеловал ее блестящие волосы. Тут же он отстранился, боясь, что Сюзанна услышит мышиную вонь от его куртки. Но Сюзанна прижалась к его плечу еще крепче.

- Что с тобой, девочка? - растерянно повторил Шамет.

Сюзанна не ответила. Она была не в силах сдержать рыдания. Шамет понял: пока что не надо ее ни о чем расспрашивать.

– У меня, – торопливо сказал он, – есть логово у крестного вала. Далековато отсюда. В доме, конечно, пусто – хоть шаром покати. Но зато можно согреть воду и уснуть в постели. Там же сможешь умыться и отдохнуть. И вообще жить сколько хочешь.

Сюзанна прожила у Шамета пять дней. Пять дней над Парижем подымалось необыкновенное солнце. Все здания, даже самые старые, покрытые копотью, все сады и даже логово Шамета сверкали в лучах этого солнца, как драгоценности.

Кто не испытывал волнения от едва слышного дыхания молодой женщины, тот не поймет, что такое нежность. Ярче влажных лепестков были ее губы, и от ночных слез блестели ресницы.

Да, с Сюзанной все случилось именно так, как предполагал Шамет. Ей изменил возлюбленный, молодой актер. Но тех пяти дней, какие Сюзанна прожила у Шамета, вполне хватило на их примирение.

Шамет участвовал в нем. Ему пришлось отнести письмо Сюзанны к актеру и научить этого томного красавчика вежливости, когда тот хотел сунуть Шамету несколько су на чай.

Вскоре актер приехал в фиакре за Сюзанной. И все было как надо: букет, поцелуи, смех сквозь слезы, раскаяние и чуть надтреснутая беззаботность.

Когда молодые уезжали, Сюзанна так заторопилась, что вскочила в фиакр, забыв попрощаться с Шаметом. Тут же спохватилась, покраснела и виновато протянула ему руку.

– Раз уж ты выбрала себе жизнь по вкусу, – проворчал ей напоследок Шамет, – то будь счастлива.

– Я ничего еще не знаю, – ответила Сюзанна, и слезы заблестели у нее на глазах.

– Ты напрасно волнуешься, моя крошка, – недовольно протянул молодой актер и повторил: – Моя прелестная крошка.

– Вот если бы кто-нибудь подарил мне золотую розу! – вздохнула Сюзанна. – Это было бы наверняка к счастью. Я помню твой рассказ на пароходе, Жан.

– Кто знает! – ответил Шамет. – Во всяком случае, не этот господинчик поднесет тебе золотую розу. Извини, я солдат. Я не люблю шаркунов.

Молодые люди переглянулись. Актер пожал плечами. Фиакр тронулся.

Обыкновенно Шамет выбрасывал весь мусор, выметенный за день из ремесленных заведений. Но после этого случая с Сюзанной он перестал выбрасывать пыль из ювелирных мастерских. Он начал собирать ее тайком в мешок и уносил к себе в лачугу. Соседи решили, что мусорщик «тронулся». Мало кому было известно, что в этой пыли есть некоторое количество золотого порошка, так как ювелиры, работая, всегда стачивают немного золота.

Шамет решил отсеять из ювелирной пыли золото, сделать из него небольшой слиток и выковать из этого слитка маленькую золотую розу для счастья Сюзанны. А может быть, как говорила ему когда-то мать, она послужит и для счастья многих простых людей. Кто знает! Он решил не встречаться с Сюзанной, пока не будет готова эта роза.

Шамет никому не рассказывал о своей затее. Он боялся властей и полиции. Мало ли что придет в голову судебным крючкотворам. Они могут объявить его вором, посадить в тюрьму и отобрать у него золото. Ведь оно было все-таки чужое.

До поступления в армию Шамет батрачил на ферме у сельского кюре и потому знал, как обращаться с зерном. Эти познания пригодились ему теперь. Он вспомнил, как веяли хлеб и тяжелые зерна падали на землю, а легкая пыль уносилась ветром.

Шамет построил небольшую веялку и по ночам перевеивал во дворе ювелирную пыль. Он волновался до тех пор, пока не увидел на лотке едва заметный золотящийся порошок.

Прошло много времени, пока золотого порошка накопилось столько, что можно было сделать из него слиток. Но Шамет медлил отдавать его ювелиру, чтобы выковать из него золотую розу.

Его не останавливало отсутствие денег – любой ювелир согласился бы взять за работу треть слитка и был бы этим доволен.

Дело заключалось не в этом. С каждым днем приближался час встречи с Сюзанной. Но с некоторых пор Шамет начал бояться этого часа.

Всю нежность, давно уже загнанную в глубину сердца, он хотел отдать только ей, только Сузи. Но кому нужна нежность старого уroda! Шамет давно заметил, что единственным желанием людей, встречавшихся с ним, было поскорее уйти и забыть его тощее, серое лицо с обвисшей кожей и пронзительными глазами.

У него в лачуге был осколок зеркала. Изредка Шамет смотрелся в него, но тотчас же с тяжелым ругательством отшвыривал прочь. Лучше было не видеть себя – эту неуклюжую образину, ковылявшую на ревматических ногах.

Когда роза была наконец готова, Шамет узнал, что Сюзанна год назад уехала из Парижа в Америку – и, как говорили, навсегда. Никто не мог сообщить Шамету ее адрес.

В первую минуту Шамет даже испытал облегчение. Но потом все его ожидание ласковой и легкой встречи с Сюзанной превратилось непонятным образом в железный заржавленный осколок. Этот колючий осколок застрял у Шамета в груди, около сердца, и Шамет молил бога, чтобы он скорее вонзился в это старое сердце и остановил его навсегда.

Шамет бросил прибирать мастерские. Несколько дней он пролежал у себя в лачуге, повернувшись лицом к стене. Он молчал и только один раз улыбнулся, прижав к глазам рукав старой куртки. Но никто этого не видел. Соседи даже не приходили к Шамету – у каждого хватало своих забот.

Следил за Шаметом только один человек – тот пожилой ювелир, что выковал из слитка тончайшую розу и рядом с ней, на юной ветке, маленький острый бутон.

Ювелир навещал Шамета, но не приносил ему лекарств. Он считал, что это бесполезно.

И действительно, Шамет незаметно умер во время одного из посещений ювелира. Ювелир поднял голову мусорщика, достал из-под серой подушки золотую розу, завернутую в синюю помятую ленту, и не спеша ушел, прикрыв скрипучую дверь. От ленты пахло мышами.

Была поздняя осень. Вечерняя темнота шевелилась от ветра и мигающих огней. Ювелир вспомнил, как преобразилось после смерти лицо Шамета. Оно стало суровым и спокойным. Горечь этого лица показалась ювелиру даже прекрасной.

«Чего не дает жизнь, то приносит смерть», – подумал ювелир, склонный к шаблонным мыслям, и шумно вздохнул.

Вскоре ювелир продал золотую розу пожилому литератору, неряшливо одетому и, по мнению ювелира, недостаточно богатому, чтобы иметь право на покупку такой драгоценной вещи.

Очевидно, решающую роль при этой покупке сыграла история золотой розы, рассказанная ювелиром литератору.

Запискам старого литератора мы обязаны тем, что кое-кому стал известен этот горестный случай из жизни бывшего солдата 27-го колониального полка – Жана-Эрнеста Шамета.

В своих записках литератор, между прочим, писал:

«Каждая минута, каждое брошенное невзначай слово и взгляд, каждая глубокая или шутовская мысль, каждое незаметное движение человеческого сердца, так же как и летучий пух тополя или огонь звезды в ночной луже, – все это крупинки золотой пыли.

Мы, литераторы, извлекаем их десятилетиями, эти миллионы песчинок, собираем незаметно для самих себя, превращаем в сплав и потом выковываем из этого сплава свою «золотую розу» – повесть, роман или поэму.

Золотая роза Шамета! Она отчасти представляется мне прообразом нашей творческой деятельности. Удивительно, что никто не дал себе труда проследить, как из этих драгоценных пылинок рождается живой поток литературы.

Но, подобно тому, как золотая роза старого мусорщика предназначалась для счастья Сюзанны, так и наше творчество предназначается для того, чтобы красота земли, призыв к борьбе за счастье, радость и свободу, широта человеческого сердца и сила разума преобладали над тьмой и сверкали, как незаходящее солнце».

Надпись на валуне

Для писателя полная радость наступает только тогда, когда он убеждается, что совесть его находится в соответствии с совестью ближних.

Салтыков-Щедрин

Я живу в маленьком доме на дюнах. Все Рижское взморье в снегу. Он все время слетает с высоких сосен длинными прядями и рассыпается в пыль.

Слетает он от ветра и оттого, что по соснам прыгают белки. Когда очень тихо, то слышно, как они шелушат сосновые шишки.

Дом стоит у самого моря. Чтобы увидеть море, нужно выйти за калитку и немного пройти по протоптанной в снегу тропинке мимо заколоченной дачи.

На окнах этой дачи еще с лета остались занавески. Они шевелятся от слабого ветра. Должно быть, ветер проникает сквозь незаметные щели в пустую дачу, но издали кажется, что кто-то подымает занавеску и осторожно следит за тобой.

Море не замерзло. Снег лежит до самой кромки воды. На нем видны следы зайцев.

Когда на море подымается волна, то слышен не шум прибоя, а хрустенье льда и шорох оседающего снега.

Балтика зимой пустынна и угрюма.

Латыши называют ее «Янтарным морем» («Дзинтара юра»). Может быть, не только потому, что Балтика выбрасывает много янтаря, но еще и потому, что ее вода чуть заметно отливает янтарной желтизной.

По горизонту весь день лежит слоями тяжелая мгла. В ней пропадают очертания низких берегов. Только кое-где в этой мгле опускаются над морем белые косматые полосы – там идет снег.

Иногда дикие гуси, прилетевшие в этом году слишком рано, садятся на воду и кричат. Тревожный их крик далеко разносится по берегу, но не вызывает отклика – в прибрежных лесах зимой почти нет птиц.

Днем в доме, где я живу, идет привычная жизнь. Трещат дрова в разноцветных кафельных печах, приглушенно стучит пишущая машинка, молчаливая уборщица Лиля сидит в уютном холле и вяжет кружево. Все обыкновенно и очень просто.

Но вечером кроме темнота окружает дом, сосны придвигаются к нему вплотную, и когда выходишь из ярко освещенного холла наружу, тебя охватывает ощущение полного одиночества, с глазу на глаз, с зимой, морем и ночью.

Море уходит на сотни миль в черно-свинцовые дали. На нем не видно ни одного огонька. И не слышно ни одного всплеска.

Маленький дом стоит, как последний маяк, на краю туманной бездны. Здесь обрывается земля. И поэтому кажется удивительным, что в доме спокойно горит свет, поет радио, мягкие ковры заглушают шаги, а на столах лежат раскрытые книги и рукописи.

Там, к западу, в сторону Вентспилса, за слоем мглы лежит маленький рыбацкий поселок. Обыкновенный рыбацкий поселок с сетями, сохнувшими на ветру, с

низкими домами и низким дымом из труб, с черными моторками, вытасканными на песок, и доверчивыми собаками с косматой шерстью.

В поселке этом сотни лет живут латышские рыбаки. Поколения сменяют друг друга. Светловолосые девушки с застенчивыми глазами и певучим говором становятся обветренными, кряжистыми старухами, закутанными в тяжелые платки. Румяные юноши в щегольских кепках превращаются в щетинистых стариков с невозмутимыми глазами.

Но так же, как и сотни лет назад, рыбаки уходят в море за салакой. И так же, как и сотни лет назад, не все возвращаются обратно. Особенно осенью, когда Балтика свирепеет от штормов и кипит холодной пеной, как чертов котел.

Но что бы ни случилось, сколько бы раз ни пришлось стаскивать шапки, когда люди узнают о гибели своих товарищей, все равно надо и дальше делать свое дело – опасное и тяжелое, завещанное дедами и отцами. Уступать морю нельзя.

В море около поселка лежит большой гранитный валун. На нем еще давно рыбаки высекли надпись: «В память всех, кто погиб и погибнет в море». Эту надпись видно издалека.

Когда я узнал об этой надписи, она мне показалась печальной, как все эпитафии. Но латышский писатель, рассказавший мне о ней, не согласился с этим и сказал:

– Наоборот. Это очень мужественная надпись. Она говорит, что люди никогда не сдадутся и, несмотря ни на что, будут делать свое дело. Я бы поставил эту надпись эпитафией к любой книге о человеческом труде и упорстве. Для меня эта надпись звучит примерно так: «В память тех, кто одолевал и будет одолевать это море».

Я согласился с ним и подумал, что этот эпитафией подходил бы и для книги о писательском труде.

Писатели не могут ни на минуту сдать перед невзгодами и отступить перед преградами. Что бы ни случилось, они должны непрерывно делать свое дело, завещанное им предшественниками и доверенное современниками. Недаром Салтыков-Щедрин говорил, что если хоть на минуту замолкнет литература, то

это будет равносильно смерти народа.

Писательство – не ремесло и не занятие. Писательство – призвание. Вникая в некоторые слова, в самое их звучание, мы находим их первоначальный смысл. Слово «призвание» родилось от слова «зов».

Человека никогда не призывают к ремесленничеству. Призывают его только к выполнению долга и трудной задачи.

Что же понуждает писателя к его подчас мучительному, но прекрасному труду?

Прежде всего – зов собственного сердца. Голос совести и вера в будущее не позволяют подлинному писателю прожить на земле, как пустоцвет, и не передать людям с полной щедростью всего огромного разнообразия мыслей и чувств, наполняющих его самого.

Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости.

Писателем человек становится не только по зову сердца. Голос сердца чаще всего мы слышим в юности, когда ничто еще не приглушило и не растрепало по клочкам свежий мир наших чувств.

Но приходят годы возмужалости – мы явственно слышим, кроме призывного голоса собственного сердца, новый мощный зов – зов своего времени и своего народа, зов человечности.

По велению призвания, во имя своего внутреннего побуждения человек может совершать чудеса и выносить тягчайшие испытания.

Одним из примеров, подтверждающих это, была судьба голландского писателя Эдуарда Деккера. Он печатался под псевдонимом Мультиатули. По латыни это означает «Многострадальный».

Возможно, что я вспомнил о Деккере именно здесь, на берегу сумрачной Балтики, потому, что такое же бледное северное море расстилается у берегов его родины – Нидерландов. О ней он сказал с горечью и стыдом: «Я – сын Нидерландов, сын страны разбойников, лежащей между Фрисландией и

Шельдой».

Но Голландия, конечно, не страна цивилизованных разбойников. Их меньшинство, и не они выражают лицо народа. Это страна трудолюбивых людей, потомков мятежных «гезов» и Тиля Уленшпигеля. До сих пор «пепел Клааса стучит» в сердца многих голландцев. Стучал он и в сердце Мультатули.

Выходец из семьи потомственных моряков, Мультатули был назначен правительственным чиновником на остров Яву, а недолгое время спустя – даже резидентом одного из округов этого острова. Его ждали почести, награды, богатство, возможный пост вице-короля, но... «пепел Клааса стучал в его сердце». И Мультатули пренебрег этими благами.

С редким мужеством и упорством он пытался взорвать изнутри вековую практику порабощения яванцев голландскими властями и негодьями.

Он всегда выступал в защиту яванцев и не давал их в обиду. Он жестоко карал взяточников. Он насмеялся над вице-королем и его приближенными, – конечно, добрыми христианами, – ссылаясь в объяснение своих поступков на учение Христа о любви к ближнему. Ему ничего нельзя было возразить. Но его можно было уничтожить.

Когда вспыхнуло восстание яванцев, Мультатули принял сторону восставших, потому что «пепел Клааса продолжал стучать в его сердце». Он с трогательной любовью писал о яванцах, об этих доверчивых детях, и с гневом – о своих соотечественниках.

Он разоблачил военную гнусность, придуманную голландскими генералами.

Яванцы очень чистоплотны и не выносят грязи. На этом их свойстве и был построен расчет голландцев.

Солдатам приказали забрасывать яванцев во время атак человеческим калом. И яванцы, встречавшие, не дрогнув, ожесточенный ружейный огонь, не выдерживали этого вида войны и отступали.

Мультатули был смещен и отправлен в Европу.

Несколько лет он добивался от голландского парламента справедливости для яванцев. Он всюду говорил об этом. Он писал петиции министрам и королю.

Но тщетно. Его выслушивали неохотно и торопливо. Вскоре его объявили опасным чудаком, даже сумасшедшим. Он нигде не мог найти работы. Семья его голодала.

Тогда, повинувшись голосу сердца, иными словами, повинувшись жившему в нем, но до тех пор еще неясному призванию, Мультатули начал писать. Он написал разоблачительный роман о голландцах на Яве: «Макс Хавелаар, или Торговцы кофе». Но это была только первая проба. В этой книге он как бы нащупывал еще зыбкую для него почву литературного мастерства.

Но зато следующая его книга – «Письма любви» – была написана с потрясающей силой. Эту силу давала Мультатули исступленная вера в свою правоту.

Отдельные главы книги напоминают то горький крик человека, схватившегося за голову при виде чудовищной несправедливости, то едкие и остроумные притчи-памфлеты, то нежные утешения любимым людям, окрашенные печальным юмором, то последние попытки воскресить наивную веру своего детства.

«Бога нет, или он должен быть добр, – писал Мультатули. – Когда же наконец перестанут обкрадывать нищих!»

Он уехал из Голландии, надеясь заработать на кусок хлеба на стороне. Жена осталась с детьми в Амстердаме – у него не было лишней копейки, чтобы взять их с собой.

Он нищенствовал по городам Европы и писал, писал непрерывно, этот неудобный для благоприличного общества, насмешливый и замученный человек. Он почти не получал писем от жены, потому что у нее не хватало денег даже на марки.

Он думал о ней и о детях, особенно о маленьком мальчике с синими глазами. Он боялся, что этот маленький мальчик разучится доверчиво улыбаться людям, и умолял взрослых не вызывать у него преждевременных слез.

Книги Мультатули никто не хотел издавать.

Но вот наконец свершилось! Крупное издательство согласилось купить его рукописи, но с условием, что он нигде больше не будет их издавать.

Измученный Мультатули согласился. Он вернулся на родину. Ему даже дали немного денег. Но рукописи купили просто для того, чтобы обезоружить этого человека. Рукописи были изданы в таком количестве экземпляров и по такой недоступной цене, что это было равносильно их уничтожению. Голландские купцы и власти не могли чувствовать себя спокойно, пока эта пороховая бочка была не у них в руках.

Мультатули умер, так и не дождавшись справедливости. А он мог бы написать еще много превосходных книг, – тех, о каких принято говорить, что они написаны не чернилами, а кровью сердца.

Он боролся, как мог, и погиб. Но он «одолел море». И может быть, вскоре на независимой Яве, в Джакарте, будет поставлен памятник этому бескорыстному страдальцу.

Такова была жизнь человека, слившего воедино два великих призвания.

По неистовой преданности своему делу у Мультатули был собрат, тоже голландец и его современник, – художник Винсент Ван-Гог.

Трудно найти пример большего отречения от себя во имя искусства, чем жизнь Ван-Гога. Он мечтал создать во Франции «братство художников» – своего рода коммуну, где ничто не отрывало бы их от служения живописи.

Ван-Гог много перестрадал. Он опустился на самое дно человеческого отчаяния в своих «Едоках картофеля» и «Прогулке заключенных». Он считал, что дело художника – противостоять страданию всеми силами, всем своим талантом.

Дело художника – рождать радость. И он создавал ее теми средствами, какими владел лучше всего, – красками.

На своих холстах он преобразил землю. Он как бы промыл ее чудотворной водой, и она осветилась красками такой яркости и густоты, что каждое старое дерево превратилось в произведение скульптуры, а каждое клеверное поле – в солнечный свет, воплощенный во множестве скромных цветочных венчиков.

Он остановил своей волей непрерывную смену красок, чтобы мы могли проникнуться их красотой.

Разве можно утверждать после этого, что Ван-Гог был равнодушен к человеку? Он подарил ему лучшее, чем обладал, – свою способность жить на земле, сияющей всеми возможными цветами и всеми их тончайшими переливами.

Он был нищ, горд и непрактичен. Он делился последним куском с бездомными и хорошо узнал на собственной шкуре, что значит социальная несправедливость. Он пренебрегал дешевым успехом.

Конечно, он не был борцом. Героизм его заключался в фанатической вере в прекрасное будущее людей труда – пахарей и рабочих, поэтов и ученых. Он не мог быть борцом, но он хотел внести и внес свою долю в сокровищницу будущего – свои картины, воспевающие землю.

Из всех видов этой красоты Ван-Гог выбрал только один: цвет. Его всегда поражало свойство природы к безошибочному соотношению красок, неисчислимое множество их переходов, та раскраска земли, которая все время меняется, но одинаково хороша во все времена года и под всеми широтами.

Пора восстановить справедливость по отношению к Ван-Гогу, к таким художникам, как Врубель, Борисов-Мусатов, Гоген, и многим другим.

Нам нужно все, что обогащает внутренний мир человека социалистического общества, все, что возвышает его эмоциональную жизнь. Неужели нужно доказывать эту прописную истину?!

По существу, мы должны быть владельцами искусства всех времен и всех стран. Мы должны изгнать из своей страны ханжей, озлобленных против красоты за то только, что она существует независимо от их воли.

Прошу извинить меня за эти отступления из области литературы в живопись. Я считаю, что все виды искусства помогают писателю в усовершенствовании его мастерства. Но об этом будет особый разговор.

Нельзя терять чувство призвания. Его не заменить ни трезвым расчетом, ни литературным опытом.

В истинном писательском призвании совершенно нет тех качеств, какие ему приписывают дешевые скептики, – ни ложного пафоса, ни напыщенного сознания писателем своей исключительной роли.

Пришвин был человеком безусловного писательского призвания. Он подчинил ему жизнь. Но он же и сказал замечательные слова, что «величайшее счастье писателя – не считать себя особенным, одиноким, а быть таким, как все люди».

Цветы из стружек

Часто я спрашиваю себя, когда думаю о своих занятиях литературой: когда же это началось? И как это вообще начинается? Что впервые заставляет человека взять в руки перо, чтобы не выпускать его до конца жизни?

Труднее всего вспомнить, когда это началось. Очевидно, писательство возникает в человеке, как душевное состояние, гораздо раньше, чем он начинает исписывать стопы бумаги. Возникает еще в юности, а может быть, и в детстве.

В детстве и юности мир существует для нас в ином качестве, чем в зрелые годы. В детстве жарче солнце, гуще трава, обильнее дожди, ярче небо и смертельно интересен каждый человек.

Для детей каждый взрослый кажется существом немного таинственным – будь это плотник с набором инструментов, пахнущих стружкой, или ученый, знающий, почему трава окрашена в зеленый цвет.

Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас – величайший дар, доставшийся нам от поры детства.

Если человек не растеряет этот дар на протяжении долгих трезвых лет, то он поэт или писатель. В конце концов разница между обоими невелика.

Ощущение жизни как непрерывной новизны – вот та плодородная почва, на которой расцветает и созревает искусство.

Когда я был гимназистом, я, конечно, писал стихи, такое множество стихов, что за месяц исписывал толстую общую тетрадь.

Стихи были плохие – пышные, нарядные и, как мне тогда казалось, довольно красивые.

Сейчас я забыл эти стихи. Помню только отдельные строфы. Например, такие:

О, срывайте цветы на поникших стеблях!

Тихо падает дождь на полях.

И в края, где горит дымно-алый осенний закат,

Пожелтые листья летят...

Чем дальше, тем больше я нагромождал в стихах всяческие, даже бессмысленные, красоты:

И опалами блещет печаль о любимом Саади

На страницах медлительных дней...

Почему печаль «блещет опалами» – этого ни тогда, ни сейчас я объяснить не могу. Просто меня увлекало самое звучание слов. Я не думал о смысле.

Больше всего я писал стихов о море. В ту пору я его почти не знал.

Это не было какое-то определенное море – Черное, Балтийское или Средиземное, – а праздничное «море вообще». Оно соединяло в себе все разнообразие красок, всю безудержную романтику, далекую от подлинной жизни, времени и реального географического пространства. Тогда эта романтика окружала в моих глазах земной шар, подобно плотной атмосфере.

Это было пенистое, веселое море – родина крылатых кораблей и отважных мореплавателей. Изумрудами горели на его берегах маяки. В портах ключом бурлила беззаботная жизнь. Смуглые женщины неслыханной прелести были ввергнуты по моей авторской воле в кипение жестоких страстей.

Правда, с годами мои стихи делались менее нарядными. Из них постепенно начала выветриваться экзотика.

Но, честно говоря, детские и юношеские годы никогда не обходятся без экзотики, будь это экзотика тропических стран или гражданской войны.

Кто в детстве не осаждал старинные замки, не погибал на корабле с изодранными в клочья парусами у берегов Магелланова пролива или Новой Земли, не мчался в тачанке вместе с Чапаевым по зауральским степям, не искал сокровища, так ловко запрятанные Стивенсоном на таинственном острове, не слышал шума знамен в Бородинском бою или не помогал Маугли в непролазных дебрях Индостана?

Экзотика сообщает жизни ту долю необыкновенности, которая необходима каждому юному и впечатлительному существу.

Дидро был прав, когда говорил, что искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном.

Во всяком случае, я ничуть не жалею о детском своем увлечении экзотикой.

Это увлечение, конечно, не исчезло у меня сразу. Оно держалось долго, как держится стойкий запах сирени в садах. Оно преображало в моих глазах знакомый, немного даже надоевший Киев. Золото закатов пылало в его садах. За Днепром мигали во мраке молнии. Мне казалось, что там раскинулась неведомая – грозная и влажная – страна, наполненная бегущим шумом листьев.

Весна сыпала на город желтоватые цветы каштанов с красными крапинками на лепестках. Их было так много, что во время дождей плотины из опавших цветов задерживали сток дождевой воды и некоторые улицы превращались в мелкие озера.

А после дождей небо над Киевом светилось, как купол из лунного камня. И с неожиданной силой приходили на память стихи:

Царит весны таинственная сила

С звездами на челе.

Ты, нежная! Ты счастье мне сулила

На суетной земле.

С этим временем у меня была связана первая влюбленность – то удивительное состояние, когда почти все девушки казались прекрасными. Любая черта девичества, мелькнувшая на мгновение на улице, в саду, в трамвае, – застенчивый, но внимательный взгляд, запах волос, блеск зубов за полуоткрытыми губами, обнаженное ветром маленькое колено, прикосновение холодных пальцев – все это напоминало, что рано или поздно, но и меня настигнет в жизни любовь. Я был уверен в этом. Так мне хотелось думать, и так я думал.

Каждая такая встреча была для меня началом непонятной тоски.

В стихах и неясном волнении прошла большая часть моей бедной и, по существу, довольно горькой молодости.

Вскоре я бросил писать стихи. Я понял, что это мишура, цветы из хорошо раскрашенных стружек, сусальная позолота.

Вместо стихов я написал свой первый рассказ. У него была своя история. О ней я расскажу в следующей главе.

Первый рассказ

Я возвращался на пароходе по Припяти из местечка Чернобыль в Киев. Лето я прожил под Чернобылем, в запущенном имении отставного генерала Левковича. Мой классный наставник устроил меня в семью Левковича в качестве домашнего учителя. Я должен был подготовить генеральского сына-балбеса к двум осенним переэкзаменовкам.

Старый помещичий дом стоял в низине. По вечерам курился вокруг холодный туман. Лягушки надрывались в окрестных болотах, и до головной боли пахло багульником.

Шалые сыновья Левковича били диких уток из ружей прямо с террасы во время вечернего чая.

Сам Левкович – тучный, сивоусый, злой, с вытаращенными черными глазами – весь день сидел на террасе в мягком кресле и задыхался от астмы. Изредка он хрипло кричал:

– Не семья, а шайка бездельников! Кабак! Всех выгоню к чертовой тетке! Лишу наследства!

Но никто не обращал внимания на его сиплые крики. Имением и домом заправляла его жена – «мадам Левкович», – еще не старая, игривая, но очень скупая женщина. Все лето она проходила в скрипучем корсете.

Кроме шалопаев сыновей, у Левковича была дочь – девушка лет двадцати. Звали ее Жанна д'Арк. С утра до ночи она носилась верхом на бешеном караковом жеребце, сидя на нем по-мужски, и разыгрывала из себя демоническую женщину.

Она любила повторять, чаще всего совершенно бессмысленно, слово «презираю».

Когда меня познакомили с ней, она протянула мне с коня руку и, глядя в глаза, сказала:

– Презираю!

Я не чаял, как вырваться из этой оголтелой семьи, и почувствовал огромное облегчение, когда наконец сел в телегу, на сено, покрытое рядом, и кучер Игнатий Лойола (в семье Левковичей всем давали исторические прозвища), а попросту Игнат, дернул за веревочные вожжи, и мы шагом поплелись в Чернобыль.

Тишина, стоявшая в низкорослом полесье, встретила нас, как только мы выехали за ворота усадьбы.

В Чернобыль мы притащились только к закату и заночевали на постоялом дворе. Пароход запаздывал.

Постоялый двор держал пожилой еврей по фамилии Кушер.

Он уложил меня спать в маленьком зальце с портретами предков – седобородых старцев в шелковых ермолках и старух в париках и черных кружевных шалях.

От кухонной лампочки воняло керосином. Как только я лег на высокую, душную перину, на меня изо всех щелей тучами двинулись клопы.

Я вскочил, поспешно оделся и вышел на крыльцо. Дом стоял у прибрежного песка. Тускло поблескивала Припять. На берегу штабелями лежали доски.

Я сел на скамейку на крыльце и поднял воротник гимназической шинели. Ночь была холодная. Меня знобило.

На ступеньках сидели двое незнакомых людей. В темноте я их не мог разглядеть. Один курил махорку, другой сидел, сгорбившись, и будто спал. Со двора слышался мощный храп Игнатия Лойолы, – он лег в телеге, на сене, и я теперь завидовал ему.

– Клопы? – спросил меня высоким голосом человек, куривший махорку.

Я узнал его по голосу. Это был низенький хмурый еврей в калошах на босу ногу. Когда мы с Игнатием Лойолой приехали, он отворил нам ворота во двор и потребовал за это десять копеек. Я дал ему гривенник. Кушер заметил это и закричал из окна:

– Марш с моего двора, голода! Тысячу раз тебе повторять!

Но человек в калошах даже не оглянулся на Кушера. Он подмигнул мне и сказал:

– Вы слышали? Каждый чужой гривенник не дает ему спать. Таки он подохнет от жадности, попомните мое слово!

Когда я спросил Кушера, что это за человек, он неохотно ответил:

– А, Иоська! Помешанный. Ну, я понимаю – если тебе не с чего жить, то по крайности уважай людей. А не смотри на них, как царь Давид со своего трона.

– За тех клопов, – сказал мне Иоська, затягиваясь, и я увидел щетину у него на щеках, – вы еще заплатите Кушеру добавочные гроши. Раз человек пробивается до богатства, он ничем не побрезгует.

– Иося! – неожиданно сказал глухим и злым голосом сгорбленный человек. – За что ты загубил Христю? Второй год нету у меня сна...

– Это ж надо, Никифор, не иметь ни капли разума, чтобы говорить такие поганые слова! – сердито воскликнул Иося. – Я ее загубил?! Пойдите до вашего святого отца Михаила и спросите, кто ее загубил. Или до исправника Сухаренки.

– Доня моя! – сказал с отчаянием Никифор. – Закатилось мое солнце по-за болотами на веки вечные.

– Хватит! – прикрикнул на него Иося.

– Панихиду по ней отслужить – и то не позволяют! – не слушая Иосю, сказал Никифор. – Дойду в Киеве до самого митрополита. Не отстану, пока не помилует.

– Хватит! – повторил Иося. – За один ее волос я бы продал всю свою паршивую жизнь. А вы говорите!

Он вдруг заплакал, сдерживаясь и всхлипывая. Оттого что он сдерживался, из горла у него вырывался слабый писк.

– Плачь, дурной, – спокойно, даже одобрительно, сказал Никифор. – Кабы не то, что Христя тебя любила, мишуреса несчастного, я бы разом кончил с тобой. Взял бы грех на душу.

– Кончайте! – крикнул Иося. – Пожалуйста! Может, я того и хочу. Мне же лучше гнить в могиле.

– Дурной ты был и остался дурной, – печально ответил Никифор. – Вот ворочусь из Киева, тогда и кончу тебя, чтобы ты не травил мне сердце. Забедовал я совсем.

– А на кого вы хату покинули? – спросил Иося, перестав плакать.

– Ни на кого. Заколотил – и годи! Нужна мне теперь та хата, как мертвому понюшка!

Я слушал этот непонятный разговор. Над Припятью стеной подымался туман. Сырые доски пахли лекарственно и резко. По местечку нехотя брехали собаки.

– Хоть бы знать, когда припрется та чертова макитра, тот пароход! – с досадой сказал Никифор. – Выпили бы мы, Иосиф, косушку. Оно бы на душе и полегчало. Да где ее теперь взять, косушку?

Я согрелся в шинели и задремал, прислонившись к стене.

Утром пароход не пришел. Кушер сказал, что он заночевал где-нибудь из-за тумана и беспокоиться нечего – все равно пароход простоит в Чернобыле несколько часов.

Я напился чаю. Игнатий Лойола уехал.

От скуки я пошел побродить по местечку. На главной улице были открыты лавчонки. Из них несло селедкой и стиральным мылом. В дверях парикмахерской с висевшей на одном костыле вывеской стоял в халате веснушчатый парикмахер и грыз семечки.

От нечего делать я зашел побриться. Парикмахер, вздыхая, намылил мне щеки холодной пеной и начал обычный в провинциальных парикмахерских деликатный допрос – кто я и зачем попал в это местечко.

Вдруг по дощатому тротуару мимо окна промчались, свистя и гримасничая, мальчишки, и знакомый голос Иоськи прокричал:

Не разбужу я песней удалю

Роскошный сон красавицы моей.

– Лазарь! – крикнул из-за дощатой перегородки женский голос. – Закрой на засов двери! Опять Иоська пьяный. Что ж это делается, боже мой!

Парикмахер закрыл дверь на засов и задернул занавеску.

– Как увидит кого в парикмахерской, – объяснил он со вздохом, – так сейчас же зайдет и будет петь, танцевать и плакать.

– А что с ним? – спросил я.

Но парикмахер не успел ответить. Из-за перегородки вышла молодая растрепанная женщина с удивленными, блестящими от волнения глазами.

– Слушайте, клиент! – сказала она. – Во-первых, здравствуйте! А во-вторых, Лазарь ничего не сообразит рассказать, потому что мужчина не в состоянии понять женское сердце. Что?! Не качай головой, Лазарь! Так слушайте и хорошо подумайте про то, что я вам скажу. Чтоб вы знали, на какой ад идет девушка от любви к молодым людям.

– Маня, – сказал парикмахер, – не увлекайся.

Иоська кричал где-то уже в отдалении:

Как умру, так приходите

На мою могилку,

Колбасы мне принесите

Да ханжи бутылку!

– Какой ужас! – сказала Маня. – И это Иоська! Тот Иоська, что должен был учиться на фельдшера в Киеве, сын Песи – самой доброй женщины в Чернобыле. Слава богу, она не дожила до такого позора. Вы понимаете, клиент, как надо женщине полюбить мужчину, чтобы пойти из-за него на пытку!

– Что ты такое говоришь, Маня! – воскликнул парикмахер. – Клиент же ничего от тебя не поймет.

– Была у нас ярмарка, – сказала Маня. – На ту ярмарку приехал вдовый лесник Никифор из-под Карпиловки со своей единственной дочерью Христей. Ох, если бы вы ее видели! Вы бы потеряли рассудок! Я вам скажу, – глаза были синие, как то небо, а косы светлые, будто она их мыла в золотой воде. А ласковая! А тонкая, как я не знаю что! Ну, Иоська увидел ее и потерял дар речи. Полюбил. Так в этом, я вам скажу, ничего удивительного я не нахожу. Сам царь, если бы ее встретил, тоже начал бы сохнуть. Удивительно то, что она его полюбила. Вы же его видели? Маленький, как тот мальчик, весь рыжий, голос писклявый, ничего не делает без причуд. Одним словом, кинула Христя отца и пришла до Иоськи в дом. Вы пойдите посмотрите этот дом! Полюбуйтесь! Козе в нем тесно было жить, не то что им втроем. Одно только, что чисто. И что же вы скажете – Песя ее приняла, как королевскую принцессу. И Христя жила с Иоськой, как жена, и он был такой веселый, Иоська, – светился, как фонарь. А вы знаете, что это значит, когда еврей живет с православной? Их же нельзя повенчать. Все местечко закудахтало, как сто квочек. Тогда Иоська решил выкреститься и пошел в церковь до отца Михаила. А тот ему говорит: «Раньше следовало бы выкреститься, а потом портить христианскую девушку. Ты сделал наыворот, и теперь без разрешения митрополита я тебя, иерусалимский дворянин, не окрещу». Иоська обозвал его нехорошим словом и ушел. Тогда вмешался наш раввин, наш ребе. Он узнал, что Иоська ходил креститься, и проклял его за это в синагоге до десятого колена. А тут еще приехал Никифор, валялся в ногах у Христи, просил, чтобы вернулась домой. Так она только плакала и ни за что не вернулась. Ну, конечно, мальчишек кто-то подговорил. Они как увидят Христю, так и кричат: «Эй, Христя, кошерная! Хочешь кусочек трэфного мяса?» И показывают ей дули. На улице все кто-нибудь возьмет да и кинет ей в спину из-за забора кусок навоза. Весь дом тети Песи измазали дегтем, вы представляете?

– Ой, тетя Песя! – вздохнул парикмахер. – Это была женщина!

– Постой, дай рассказать! – прикрикнула на него Маня. – Раввин позвал до себя тетю Песю и сказал: «Вы развели блуд в своем доме, уважаемая Песя Израилевна. Вы преступили закон. За это я прокляну ваш дом и Иегова покарает вас, как продажную женщину. Поимейте жалость к своей седой голове». Так вы знаете, что она ему ответила! «Вы не раввин, – сказала она. – Вы городской! Люди любят друг друга, так какое ваше дело лезть до них со своими жирными от смальца лапами!» Плюнула и ушла. Тогда раввин и ее проклял в синагоге. Вот как у нас умеют мордовать людей. Только вы никому этого не передавайте. Все местечко только и жило, что этим делом. Наконец Иоську и Христю потребовал до себя исправник Сухаренко и сказал: «Тебя, Иоська, за кощунственное оскорбление иерея греко-российской церкви отца Михаила я отдаю под суд. И ты попробуешь у меня каторги. А Христю я силой верну отцу. Даю три дня на размышление. Вы мне взбаламутили весь уезд. Я за вас получу нагоняй от господина губернатора».

Тут же Сухаренко посадил Иоську в холодную, – говорил потом, что хотел только поугагать. Что же случается, как вы думаете? Вы мне не поверите, но Христя умерла от горя. На нее было жалко смотреть. Прямо сердце останавливалось у добрых людей. Она плакала несколько дней, а потом у нее уже и слез не хватило, и глаза высохли, и она ничего не ела. Только просила, чтобы допустили ее до Иоськи. А в самый Иом-Кипур, в Судный день, она, как уснула вечером, так и не проснулась. И лежала такая белая и счастливая, – должно быть, благодарила бога, что он взял ее от этой паскудной жизни. Зачем ей такая кара, что она полюбила того Иоську? Скажите же мне: зачем?! Нету разве других людей на свете? Иоську Сухаренко тут же выпустил, но он сделался совсем психический и с того дня начал пить и выпрашивать у людей на хлеб.

– Я б на его месте предпочел умереть, – сказал парикмахер. – Пустил бы себе пулю в лоб.

– Ой, какие вы храбрецы! – воскликнула Маня. – А как дойдет до дела, то будете обходить смерть за сто верст. Вы же не имеете понятия, как любовь может спалить до пепла женское сердце.

– Что женское, что мужское сердце, – ответил парикмахер и пожал плечами, – какая разница!

Из парикмахерской я пошел на постоянный двор. Ни Иоськи, и Никифора там не было. Кушер сидел в потертом жилете у окна и пил чай. В комнате жужжали жирные мухи.

Маленький пароход пришел только к вечеру. Он простоял в Чернобыле до ночи. Мне дали место в салоне на облезлом клеенчатом диване.

Ночью опять нанесло туман. Пароход приткнулся носом к берегу. Так он простоял до позднего утра, пока туман не рассеялся. Никифора я на пароходе не нашел. Должно быть, он запил вместе с Иоськой.

Я так подробно рассказал об этом случае потому, что, вернувшись в Киев, тотчас сжег тетради с первыми ранними своими стихами. Без всякой жалости я смотрел, как превращались в пепел изысканные фразы и гибли без возврата «пенные хрустали», «сапфирные небеса», таверны и пляски гитан.

Отрезвление пришло сразу. Любовь, оказывается, сопровождалась не «томлением умирающих лилий», а комьями навоза. Его бросали в спину прекрасной, любящей женщине.

Думая об этом, я и решил написать свой первый, как я говорил себе, «настоящий рассказ» о судьбе Христи.

Я долго мучился над ним и не понимал, почему он выходит у меня вялым и бледным, несмотря на трагическое содержание. Потом я догадался. Во-первых, потому, что рассказ был написан с чужих слов, и, во-вторых, потому, что я увлекался любовью Христи и оставил в стороне изуверский быт местечка.

Я заново переписал рассказ. Меня самого удивляло, что в него никак «не ложились» изысканные и красивые слова. Он требовал правды и простоты.

Когда я принес этот свой первый рассказ в редакцию журнала, где раньше печатали мои стихи, редактор сказал:

– Зря тратили порох, молодой человек. Рассказ напечатать нельзя. За одного исправника нам пропишут кузькину мать. Но вообще рассказ сделан крепко. Принесите нам что-нибудь другое. И подписывайтесь, пожалуйста, только

псевдонимом. Вы же гимназист. Вас за это выгонят из гимназии.

Я забрал рассказ и спрятал его. Только на следующую весну я достал его, прочел и понял еще одно обстоятельство: в рассказе не чувствовалось автора – ни его гнева, ни мыслей, ни преклонения перед любовью Христи.

Тогда я снова переделал рассказ и отнес его редактору – не для печатания, а для оценки.

Редактор прочел его при мне, встал, похлопал меня по плечу и сказал только одно слово:

– Благословляю!

Так впервые я убедился в том, то главное для писателя – это с наибольшей полнотой и щедростью выразить себя в любой вещи, даже в таком маленьком рассказе, и тем самым выразить свое время и свой народ. В этом выражении себя ничто не должно сдерживать писателя – ни ложный стыд перед читателями, ни страх повторить то, что уже было сказано (но по-иному) другими писателями, ни оглядка на критиков и редактора.

Во время работы надо забыть обо всем и писать как бы для себя или для самого дорогого человека на свете.

Нужно дать свободу своему внутреннему миру, открыть для него все шлюзы и вдруг с изумлением увидеть, что в твоём сознании заключено гораздо больше мыслей, чувств и поэтической силы, чем ты предполагал.

Творческий процесс в самом своем течении приобретает новые качества, усложняется и богатеет.

Это похоже на весну в природе. Солнечная теплота неизменна. Но она растапливает снег, нагревает воздух, почву и деревья. Земля наполняется шумом, плеском, игрой капель и талых вод – тысячами признаков весны, тогда как, повторяю, солнечная теплота остается неизменной.

Так и в творчестве. Сознание остается неизменным в своей сущности, но вызывает во время работы вихри, потоки, каскады новых мыслей и образов, ощущений и слов. Поэтому иногда человек сам удивляется тому, что написал.

Писателем может быть только тот, у кого есть что сказать людям нового, значительного и интересного, тот человек, который видит многое, чего остальные не замечают.

Что касается меня, то очень скоро я понял, что могу сказать до обидного мало. И что порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, если оставить его без пищи. Слишком небогат и узок был запас моих житейских наблюдений.

В то время книга стояла у меня над жизнью, а не жизнь над книгой. Нужно было наполнить себя жизнью до самых краев.

Поняв это, я совершенно бросил писать – на десять лет – и, как говорил Горький, «ушел в люди», начал скитаться по России, менять профессии и общаться с самыми разными людьми.

Но это не была искусственно созданная жизнь. Я не был профессиональным наблюдателем или сборщиком фактов.

Нет! Я просто жил, не стараясь хоть что-нибудь записывать или запоминать для будущих книг.

Я жил, работал, любил, страдал, надеялся, мечтал, зная только одно – что рано или поздно, в зрелом возрасте или, может быть, даже в старости, но я начну писать, вовсе не оттого, что я поставил себе такую задачу, а потому, что этого требовало мое существо. И потому, что литература была для меня самым великолепным явлением в мире.

Молния

Как рождается замысел?

Почти не бывает двух замыслов, которые бы возникали и развивались одинаково. Очевидно, ответ на вопрос, «как рождается замысел», надо искать не вообще, а в связи с каждым отдельным рассказом, романом или повестью.

Легче ответить на вопрос, что нужно для того, чтобы замысел появился, или, говоря более сухим языком, чем должно быть обусловлено рождение замысла. Появление его всегда бывает подготовлено внутренним состоянием писателя.

Возникновение замысла, пожалуй, лучше всего объяснить путем сравнения. Сравнение вносит иногда удивительную ясность в самые сложные вещи.

Астронома Джинса спросили однажды, каков возраст нашей Земли.

– Представьте себе, – ответил Джинс, – исполинскую гору, хотя бы Эльбрус на Кавказе. И вообразите единственного маленького воробья, который беспечно скачет и клюет эту гору. Так вот, этому воробью, чтобы склевать до основания Эльбрус, понадобится примерно столько же времени, сколько существует Земля.

Сравнение, которое дало бы понять возникновение замысла, гораздо проще.

Замысел – это молния. Много дней накапливается над землей электричество. Когда атмосфера насыщена им до предела, белые кучевые облака превращаются в грозные грозовые тучи, и в них из густого электрического настоя рождается первая искра – молния.

Почти тотчас же вслед за молнией на землю обрушивается ливень.

Замысел, так же как молния, возникает в сознании человека, насыщенном мыслями, чувствами и заметками памяти. Накапливается все это исподволь, медленно, пока не доходит до той степени напряжения, которое требует неизбежного разряда. Тогда весь этот сжатый и еще несколько хаотический мир рождает молнию – замысел.

Для появления замысла, как и для появления молнии, нужен чаще всего ничтожный толчок.

Кто знает, будет ли это случайная встреча, запавшее в душу слово, сон, отдаленный голос, свет солнца в капле воды или гудок парохода.

Толчком может быть все, что существует в мире вокруг нас и в нас самих.

Лев Толстой увидел сломанный репейник – и вспыхнула молния: появился замысел изумительной повести о Хаджи-Мурате.

Но если бы Толстой не был на Кавказе, не знал и не слышал о Хаджи-Мурате, то, конечно, репейник не вызвал бы у него этой мысли. Толстой был внутренне подготовлен к этой теме, и только потому репейник дал ему нужную ассоциацию».

Если молния – замысел, то ливень – это воплощение замысла. Это стройные потоки образов и слов. Это книга.

Но в отличие от слепящей молнии, первоначальный замысел зачастую бывает неясным.

«И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал».

Лишь постепенно замысел зреет, завладевает умом и сердцем писателя, обдумывается и усложняется. Но это так называемое «вынашивание замысла» происходит совсем по-иному, нежели представляют себе иные наивные люди. Оно не выражается в том, что писатель сидит, стиснув голову руками, или бродит, одинокий и дикий, выборматывая свои думы.

Совсем нет! Кристаллизация замысла, его обогащение идут непрерывно, каждый час, каждый день, всегда и повсюду, во всех случайностях, трудах, радостях и горестях нашей «быстротекущей жизни».

Чтобы дать замыслу созреть, писатель никогда не должен отрываться от жизни и целиком уходить «в себя». Наоборот, от постоянного соприкосновения с действительностью замысел расцветает и наливается соками земли.

Вообще о писательской работе существует много предвзятых мнений и предрассудков. Некоторые из них могут привести в отчаяние своей пошлостью.

Больше всего опошлено вдохновение.

Почти всегда оно представляется невеждам в виде выпученных в непонятном восхищении, устремленных в небо глаз поэта или закушенного зубами гусиного пера.

Многие, очевидно, помнят кинокартину «Поэт и царь». Там Пушкин сидит, мечтательно подняв глаза к небу, потом судорожно хватается за перо, начинает писать, останавливается, вновь возводит глаза, грызет гусиное перо и опять торопливо пишет.

Сколько мы видели изображений Пушкина, где он похож на восторженного маньяка!

На одной художественной выставке я слышал любопытный разговор около скульптуры кургузого и как бы завитого перманентом Пушкина с «вдохновенным» взором. Маленькая девочка долго смотрела, сморщившись, на этого Пушкина и спросила мать:

– Мама, он мечту мечтает? Или что?

– Да, доченька, дядя Пушкин мечтает мечту, – разнеженно ответила мать.

Дядя Пушкин «грезит грезу»! Тот Пушкин, что сказал о себе: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в наш жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал!»

А если «святое» вдохновение «осеняет» (обязательно «святое» и обязательно «осеняет») композитора, то он, вздымая очи, плавно дирижирует для самого себя теми чарующими звуками, какие, несомненно, звучат сейчас в его душе, – совершенно так, как на слащавом памятнике Чайковскому в Москве.

Нет! Вдохновение – это строгое рабочее состояние человека. Душевный подъем не выражается в театральной позе и приподнятости. Так же как и пресловутые

«муки творчества».

Пушкин сказал о вдохновении точно и просто: «Вдохновение есть расположение души к живому приятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных». «Критики, – сказал он вдобавок, – смешивают вдохновение с восторгом». Так же как читатели смешивают иногда правду с правдоподобием.

Это было бы еще полбеды. Но когда иные художники и скульпторы смешивают вдохновение с «телячьим восторгом», то это выглядит как полное невежество и неуважение к тяжелому писательскому труду.

Чайковский утверждал, что вдохновение – это состояние, когда человек работает во всю силу, как вол, а вовсе не кокетливо помахивает рукой.

Прошу извинить меня за это отступление, но все, о чем я говорил выше, совсем не пустяк. Это признак того, что жив еще пошляк и обыватель.

Каждый человек хотя бы и несколько раз за свою жизнь, но пережил состояние вдохновения – душевного подъема, свежести, живого восприятия действительности, полноты мысли и сознания своей творческой силы.

Да, вдохновение – это строгое рабочее состояние, но у него есть своя поэтическая окраска, свой, я бы сказал, поэтический подтекст.

Вдохновение входит в нас как сияющее летнее утро, только что сбросившее туманы тихой ночи, забрызганное росой, с зарослями влажной листвы. Оно осторожно дышит нам в лицо своей целебной прохладой.

Вдохновение – как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок.

Тогда наш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий волшебный инструмент, и отзывается на все, даже самые скрытые, самые незаметные звуки жизни.

О вдохновении написано много превосходных строк у писателей и поэтов. «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется» (Пушкин). «Тогда смиряется души моей тревога» (Лермонтов). «Приближается звук. И, покорна щемящему звуку, молодеет душа» (Блок). Очень точно сказал о вдохновении Фет:

Одним толчком согнать ладью живую

С наглаженных отливами песков,

Одной волной подняться в жизнь иную

Учуять ветер с цветущих берегов,

Тоскливый сон прервать единым звуком,

Упитья вдруг неведомым, родным,

Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,

Чужое вмиг почувствовать своим...

Тургенев называл вдохновение «приближением бога», озарением человека мыслью и чувством. Он со страхом говорил о неслыханном мучении для писателя, когда он начинает претворять это озарение в слова.

Толстой сказал о вдохновении, пожалуй, проще всех: «Вдохновение состоит в том, что вдруг открывается то, что можно сделать. Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть кропотливой работы для его исполнения».

Но как бы мы ни определяли вдохновение, мы знаем, что оно плодотворно и не должно исчезнуть бесследно, не одарив собою людей.

Бунт героев

В старое время, когда люди переезжали с квартиры на квартиру, для переноски вещей нанимали иногда арестантов из местной тюрьмы.

Мы, дети, всегда ждали появления этих арестантов со жгучим любопытством и жалостью.

Арестантов приводили усатые надзиратели с огромными револьверами «бульдогами» на поясах. Мы во все глаза смотрели на людей в серой арестантской одежде и серых круглых шапочках. Но почему-то с особенным уважением разглядывали мы тех арестантов, у которых были подвязаны ремешком к поясу звенящие тонкие кандалы.

Все это было очень таинственно. Но самым удивительным представлялось то обстоятельство, что почти все арестанты оказывались обыкновенными усталыми людьми и до того добродушными, что никак нельзя было поверить, что они злодеи и преступники. Наоборот, они были не то что вежливы, а просто деликатны, и больше всего боялись кого-нибудь ушибить при переноске громоздкой мебели или что-нибудь поломать.

У нас, детей, по соглашению со взрослыми, был выработан хитрый план. Мама уводила надзирателей на кухню пить чай, а мы в это время торопливо засовывали в карманы арестантам хлеб, колбасу, сахар, табак, а иногда и деньги. Их нам давали родители.

Мы воображали, что это рискованное дело, и были в восторге, когда арестанты благодарили нас шепотом, подмигивая в сторону кухни, и перепрятывали наши гостинцы подальше, во внутренние потайные карманы.

Иногда арестанты незаметно давали нам письма. Мы наклеивали на них марки и потом шли всей гурьбой бросать в почтовый ящик. Перед тем как бросить письмо в ящик, мы оглядывались: нет ли поблизости пристава или городского? Как будто они могли догадаться, какое письмо мы отправляем.

Среди арестантов я помню человека с седой бородой. Его называли старостой.

Он распоряжался переноской вещей. Вещи, особенно шкафы и пианино, застревали в дверях, их трудно было развернуть, а иногда они никак не становились на предназначенное для них новое место, сколько арестанты с ними ни бились. Вещи явно сопротивлялись. В таких случаях староста говорил по поводу какого-нибудь шкафа:

– Ставьте его там, где ему хочется. Что вы его мордуете! Я пять лет перевожу вещи и характер ихний знаю. Раз вещь стоять здесь не желает, так сколько на нее не жми – не уступит. Поломается, а не уступит.

Я вспомнил об этой сентенции старого арестанта в связи с писательскими планами и поступками литературных героев. В поведении вещей и этих героев есть что-то общее. Герои часто вступают в борьбу с автором и почти всегда побеждают его. Но разговор об этом еще впереди.

Конечно, почти все писатели составляют планы своих будущих вещей. Некоторые разрабатывают их подробно и точно. Другие – очень приблизительно. Но есть писатели, у которых план состоит всего из нескольких слов, как будто не имеющих между собой никакой связи.

И только писатели, обладающие даром импровизации, могут писать без предварительного плана. Из русских писателей таким даром обладал в высокой степени Пушкин, а из современных нам прозаиков – Алексей Николаевич Толстой.

Я допускаю мысль, что писатель гениальный тоже может писать без всякого плана. Гений настолько внутренне богат, что любая тема, любая мысль, случай или предмет вызывают у него неиссякаемый поток ассоциаций.

Молодой Чехов сказал Короленко:

– Вот у вас стоит на столе пепельница. Хотите, я напишу сейчас же о ней рассказ.

И он бы написал его, конечно.

Можно представить себе, что человек, подобрав на улице измятый рубль, начнет с этого рубля свой роман, начнет как бы шутя, легко и просто. Но вскоре этот роман пойдет и вглубь и вширь, заполнится людьми, событиями, светом, красками и начнет литься свободно и ровно, подгоняемый воображением, требуя от писателя все новых жертв, требуя, чтобы писатель отдавал ему драгоценные запасы образов и слов.

И вот уже в повествовании, начавшемся со случайности, возникают мысли, возникает сложная судьба людей. И писатель уже не в силах справиться со своим волнением. Он, как Диккенс, плачет над страницами своей рукописи, стонет от боли, как Флобер, или хохочет, как Гоголь.

Так в горах от ничтожного звука, от выстрела из охотничьего ружья начинает сыпаться по крутому склону блестящей полоской снег. Вскоре он превращается в широкую снежную реку, несущуюся вниз, и через несколько минут в долину срывается лавина, сотрясая грохотом ущелье и наполняя воздух искристой пылью.

Об этой легкости возникновения творческого состояния у людей гениальных и к тому же обладающих даром импровизации упоминают многие писатели.

Недаром Баратынский, хорошо знавший, как работал Пушкин, сказал о нем:

...Пушкин молодой, сей ветреник блестящий,

Все под пером своим шутя животворящий...

Я упомянул о том, что некоторые планы кажутся набором слов.

Вот небольшой пример. У меня есть рассказ «Снег». Перед тем как ему появиться, я исписал лист бумаги, и из этих записей и родился рассказ. Как же выглядят эти записи?

«Забытая книга о севере. Основной цвет севера – фольга. Пар над рекой. Женщины полощут белье в прорубях. Дым. Надпись на колокольчике у Александры Ивановны: «Я вишу у дверей, – звони веселей!» «И колокольчик, дар Валдая, звенит уныло под дугой». Их зовут «дарвалдаями». Война. Таня. Где она, в каком глухом городке? Одна. Тусклая луна за облаками, – страшная даль. Жизнь сжата в небольшой круг света. От лампы. Всю ночь что-то гудит в стенах. Ветки царапают о стекла. Мы очень редко выходим из дома в самую глухую пору зимней ночи. Это надо проверить... Одиночество и ожидание. Старый недовольный кот. Ему ничем нельзя угодить. Все как будто видно – даже витые свечи (оливковые) на рояле, но пока что ничего больше нет. Искала квартиру с роялем (певица). Эвакуация. Рассказ об ожидании. Чужой дом. Старомодный, по-своему уютный, фикусы, запах старого табака Стамболи или Месаксуди. Жил

старик и помер. Ореховый письменный стол с желтыми пятнами на зеленом сукне. Девочка. Золушка. Нянька. Больше пока никого нет. Любовь, говорят, притягивает на расстоянии. Можно написать рассказ только об ожидании. Чего? Кого? Она сама не знает этого. Это разрывает сердце. На пересечении сотен дорог случайно сталкиваются люди, не зная, что вся их прошлая жизнь была подготовкой к этой встрече. Теория вероятности. Применительно к человеческим сердцам. Для дураков все просто. Страна тонет в снегах. Неизбежность появления человека. От кого-то все приходят на имя умершего письма. Их складывают стопкой на столе. В этом – ключ. Какие письма? Что в них? Моряк. Сын. Страх перед тем, что он приедет. Ожидание. Нет предела доброте ее сердца. Письма превратились в действительность. Снова витые свечи. В ином качестве. Ноты. Полотенце с дубовыми листьями. Рояль. Березовый дым. Настройщик, – все чехи хорошие музыканты. Закутанный до глаз. Все ясно!»

Вот то, что можно с большой натяжкой назвать планом этого рассказа. Если прочесть эту запись, не зная рассказа, то станет понятно, что это хотя и медленное и неясное, но упорное нащупывание темы и сюжета.

Что же происходит с самыми точными, продуманными и выверенными писательскими планами? Правду сказать, жизнь у них большей частью короткая.

Как только в начатой вещи появляются люди и как только эти люди по воле автора оживают, они тотчас же начинают сопротивляться плану и вступают с ним в борьбу. Вещь начинает развиваться по своей внутренней логике, толчок для которой дал, конечно, писатель. Герои действуют в соответствии с их собственным характером, несмотря на то что творцом этих характеров является писатель.

Если же писатель заставит героев действовать вопреки внутренней логике, если он силой вернет их в рамки плана, то герои начнут мертветь, превращаясь в ходячие схемы, в роботов.

Эту мысль очень просто высказал Лев Толстой.

Кто-то из посетителей Ясной Поляны обвинил Толстого в том, что он жестоко поступил с Анной Карениной, заставив ее броситься под поезд.

Толстой улыбнулся и ответил:

– Это мнение напоминает мне случай с Пушкиным. Однажды он сказал какому-то из своих приятелей: «Представь, какую штуку удрала со мной Татьяна. Она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее». То же самое и я могу сказать про Анну Каренину. Вообще герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы! Они делают то, что должны делать в действительной жизни и как бывает в действительной жизни, а не то, что мне хочется.

Все писатели хорошо знают эту неподатливость героев. «Я в самом разгаре работы, – говорил Алексей Николаевич Толстой, – не знаю, что скажет герой через пять минут. Я слежу за ним с удивлением».

Случается, что второстепенный герой вытесняет остальных, сам становится главным, поворачивает весь ход повествования и ведет его за собой.

Вещь по-настоящему, со всей силой, начинает жить в сознании писателя только во время работы над ней. Поэтому в ломке и крушении планов нет ничего особенного и ничего трагического.

Наоборот, это естественно и свидетельствует только о том, что подлинная жизнь прорвалась, заполнила писательскую схему и раздвинула и сломала своим живым напором рамки первоначального писательского плана.

Но это ни в коей мере не опорочивает и план, так как роль писателя далеко не сводится лишь к тому, чтобы записывать все по подсказке жизни. Ведь жизнь образов в его произведении обусловлена сознанием писателя, его памятью, воображением, опытом, всем строем его души.

История одной повести

«Планета Марц»

Попытаюсь вспомнить, как возник замысел моей повести «Кара-Бугаз». Как все это произошло?

Во времена моего детства в Киеве, на Владимирской горке над Днепром, каждый вечер появлялся старик в пыльной шляпе со свисающими полями. Он приносил облезлый телескоп и долго устанавливал его на трех погнутых железных ногах.

Старика этого звали «Звездочетом» и считали итальянцем, потому что он нарочно коверкал русские слова на иностранный лад.

Установив телескоп, старик говорил заученным, монотонным голосом:

– Любезные синьоры и синьорины! Буона джиорно! За пять копеек вы уносите с Земли на Луну и разные звезды. Особенно рекомендую смотреть зловещую планету Марц, имеющую тон человеческой крови. Кто родился под знаком Марца, может враз погибнуть на войне от фузильерской пули.

Однажды я был с отцом на Владимирской горке и смотрел в телескоп на планету Марс.

Я увидел черную бездну и красноватый шар, бесстрашно висевший без всякой опоры среди этой бездны. Пока я смотрел на него, шар начал подбираться к краю телескопа и спрятался за его медный ободок. Звездочет слегка повернул телескоп и вернул Марс на прежнее место. Но тот опять начал сдвигаться к медному ободку.

– Ну как? – спросил отец. – Ты видишь что-нибудь?

– Да, – ответил я. – Я даже вижу каналы.

Я знал, что на Марсе живут люди – марсиане – и что они выкопали, неизвестно для чего, на своей планете громадные каналы.

– Ну, положим! – сказал отец. – Не выдумывай! Никаких каналов ты не видишь. Их заметил только один астроном – итальянец Скиапарелли – и то в большой телескоп.

Имя соотечественника Скиапарелли не произвело на Звездочета никакого впечатления.

– И еще я вижу какую-то планету налево от Марса, – сказал я неуверенно. – Но она почему-то бежит по небу во все стороны.

– Да яка ж це планета! – добродушно воскликнул Звездочет. – То якась гадючка заскочила тебе в глаз.

Он крепко взял меня за подбородок и ловко вытащил у меня из глаза соринку.

От зрелища Марса мне стало холодно и жутко. Я с облегчением оторвался от телескопа, и киевские улицы с их неяркими огнями, грохотом извозчичьих пролетов и пыльным запахом отцветающих каштанов показались мне уютными и надежными.

Нет, в то время у меня не было никакой охоты унести с Земли на Луну или Марс!

– Почему он красный? – спросил я отца.

Отец рассказал мне, что Марс – умирающая планета, что она была такой же прекрасной, как наша Земля, – с морями, горными кряжами и буйной зеленью, но постепенно моря и реки высохли, зелень умерла, горы выветрились до основания, и Марс превратился в исполинскую песчаную пустыню. Должно быть, горы на Марсе были из красного камня, поэтому и песок на Марсе красноватый.

– Значит, Марс – шар из песка? – спросил я.

– Да, пожалуй, – согласился отец. – То, что случилось с Марсом, может случиться и с нашей Землей. Она превратится в пустыню. Но это будет через многие миллионы лет. Так что ты не пугайся. Да в конце концов люди что-нибудь придумают к тому времени и прекратят это безобразие.

Я ответил, что совершенно не пугаюсь. Но на самом деле мне было и страшно и обидно за нашу Землю. К тому же дома я узнал от старшего брата, что уже сейчас пустыни занимают чуть ли не половину всей площади на Земле.

С тех пор боязнь пустыни (хотя я ее еще тогда и не видел) приобрела у меня навязчивый характер. И хотя я и читал в журнале «Вокруг света» заманчивые рассказы о Сахаре, самумах и «кораблях пустыни» – верблюдах, но они меня не прельщали.

Вскоре мне пришлось испытать первое знакомство с пустыней. Это еще усилило мой страх перед ней.

На лето мы всей семьей поехали в деревню к деду Максиму Григорьевичу.

Лето было дождливое, теплое. Густо росли травы. Крапива около плетней вытянулась в человеческий рост. Жито колосилось на полях. От огородов тянуло сочным укропом. Все предвещало богатый урожай.

Но однажды, когда я сидел с дедом на берегу реки и удил пескарей, дед вдруг поспешно встал, прикрыл ладонью глаза от солнца, долго всматривался в поля за рекой, потом с досадой плюнул и сказал:

– Катится, кат, чертяка! Чтоб ему сгинуть навеки!

Я посмотрел в ту сторону, куда глядел дед, но ничего не увидел, кроме длинного мутного вала. Он быстро приближался. Я думал, что это подходит гроза, но дед сказал:

– Та то ж суховей! Пекло проклятое! Ветер из Бухары, с пустыни. Все попалит! От какое несчастье приближается, Костик. Не буде чем даже дыхаты.

Зловещий вал несся по земле прямо на нас. Дед торопливо сматывал свою длинную удочку из орешины и говорил мне:

– Тикай до хаты, а то забьет глаза пылью. А я поплетусь следом. Тикай!

Я побежал к хате, но суховей настиг меня в пути. Вихри неслись, шурша песком и подымая к небу птичий пух и щепки. Тяжелая муть заволокла все вокруг. Солнце вдруг сделалось косматым и багровым, как Марс. Закачались и засвистели ракиты. Сзади дохнуло таким жаром, будто у меня на спине затлела рубашка. Пыль трещала на зубах и порошила глаза.

На пороге хаты стояла моя тетушка Феодосия Максимовна и держала в руках икону, завернутую в шитый рушник.

– Господи, спаси и помилуй! – испуганно бормотала она. – Пречистая богородица, пронеси краем!

На хату налетел, кружась, смерч. Зазвенели плохо замазанные стекла. Солома на стрехе задралась. Из-под нее, как черные пули, залпом вылетели воробьи.

Отца с нами в то время не было – он остался в Киеве. Мама была заметно встревожена.

Я помню, что тяжелее всего был нарастающий жар. Я думал, что через час-два загорится солома на крыше, а потом и у нас затлеют волосы и платье. Поэтому я заплакал.

К вечеру листья на густых ракигах поникли и висели, как серые тряпки. У всех плетней ветер намел сугробы мелкой, как мошкара, черноватой пыли.

К утру листва пожухла и высохла. Сорванные листья можно было растереть пальцами в порошок. Ветер усилился. Он начал срывать эту мертвую, грязную листву, и многие деревья стояли уже обнаженные и черные, как поздней осенью.

Дед ходил на поля и вернулся растерянный и жалкий. Он никак не мог развязать завязку у ворота своей посконной рубахи, руки у него тряслись, и он говорил:

– Когда за ночь не утихомирится, то чисто попалит все жито. И садочки и огороды.

Но ветер не утихомирился. Он дул две недели, потом немного стих и задул с новой силой. Земля на глазах превращалась в серое пепелище.

По хатам голосили женщины. Мужики понуро сидели на завалинках, прячась от ветра, ковыряли палками-дрючками землю и изредка говорили:

– Каменюка, а не земля! Прямо смерть ухватила тебя за свитку, и некуда кинуться человеку.

Из Киева приехал отец и забрал нас в город. Когда я начал расспрашивать его про суховей, он неохотно ответил:

– Пропал урожай. Пустыня идет на Украину.

– А можно что-нибудь сделать? – спросил я.

– Ничего. Не выстроишь же высокую каменную стену в две тысячи верст длиной.

– Почему? – спросил я. – Построили ведь китайцы свою Великую стену.

– Так то китайцы, – ответил отец. – Они были великие мастера, да и когда это было.

Эти детские впечатления с годами как будто забылись. Но конечно, они продолжили жить в глубине моей памяти и изредка прорывались наружу. Чаще всего во время засух, всегда вызывавших у меня непонятное беспокойство.

К зрелым своим годам я полюбил Среднюю Россию. Возможно, что толчком к этой любви была свежесть ее природы, обилие чистых и прохладных вод, сырые лесные чащи, морозящие, пасмурные дожди.

Поэтому, когда засуха докатывалась до Средней России и врезалась в нее палящим клином, мое беспокойство сменялось бессильной яростью против пустыни.

Ливенские грозы

Прошло много времени, и пустыня опять напомнила о себе.

В 1931 году я поехал на лето в город Ливны Орловской области. Я готовил тогда к печати мой первый, давно написанный роман, и меня тянуло в какой-нибудь маленький городок, где нет ни души знакомых, где можно сосредоточиться и никто и ничто не помешает работать.

В Ливнах я никогда не был. Городок понравился мне чистотой, множеством цветущих подсолнухов, своими мостовыми из цельных каменных плит и рекой Быстрая Сосна, вырывшей ущелье в толще желтого девонского известняка.

Я снял комнату на окраине, в деревянном ветхом доме. Он стоял на обрыве над рекой. Позади дома тянулся и переходил в береговые заросли наполовину высохший сад.

У пожилого и робкого хозяина – продавца газет в станционном киоске – была мрачная, тощая жена и две дочери: старшая – Анфиса и младшая – Полина.

Полина – слабенькая, прозрачная, – когда разговаривала со мной, все время расплетала и заплетала от смущения русую косу. Ей было семнадцать лет.

Анфиса была статная девушка лет девятнадцати, с бледным лицом, строгими серыми глазами и низким голосом. Она ходила в черном, как послушница, и почти ничего не делала по дому, – только часами лежала в саду на сухой траве и читала.

На чердаке у хозяина было свалено много тронутых мышами книг, главным образом сочинений иностранных классиков в издании Сойкина. Я тоже брал с чердака эти книги.

Несколько раз я замечал сверху, из сада, Анфису на берегу Быстрой Сосны. Она сидела под крутым обрывом, около куста боярышника, рядом с хилым подростком, лет шестнадцати, светловолосым, тихим, с большими пристальными глазами.

Анфиса приносила ему тайком на берег чего-нибудь поесть. Мальчик ел, а Анфиса смотрела на него с нежностью и иногда гладила его по волосам.

Однажды я видел, как она вдруг закрыла лицо ладонями и затряслась от рыданий. Мальчик перестал есть и смотрел на нее с испугом. Я незаметно ушел и долго старался не думать об Анфисе и мальчике.

А я-то наивно рассчитывал, что в тихих Ливнах никто не вырвет меня из круга тех людей и событий, о которых я писал в своем романе! Но жизнь тотчас же разбила вдребезги мои наивные надежды. Конечно, ни о какой сосредоточенности, ни о каком покое для работы не могло быть и речи, пока я не узнаю, что с Анфисой.

Еще до того, как я увидел ее с мальчиком, я подумал, глядя на ее измученные глаза, что в жизни у нее есть какая-то горькая тайна.

Так оно и оказалось.

Через несколько дней я проснулся среди ночи от раскатов грома. Грозы в Ливнах бывали очень часто. Жители объясняли это тем, что Ливны стоят на залежах железной руды и будто бы эта руда и «присасывает» грозы.

Ночь металась за окнами, то распахиваясь стремительным белым огнем, то сжимаясь в непроглядную тьму. За стеной были слышны взволнованные голоса. Потом я услышал, как Анфиса гневно крикнула:

– Кто это придумал? В каком это законе написано, что мне нельзя его полюбить? Покажите мне этот закон! Дали мне жизнь, так не отымайте. Он с каждым днем чахнет, как свечечка. Как свечечка! – крикнула она и задохнулась.

– Мать, уймись! – неуверенно прикрикнул хозяин на жену. – Пусть живет, дура, по своему сердцу. С ней не сладишь. А денег я тебе, Анфиса, все одно не дам.

– Не нужны мне ваши проклятые деньги! – крикнула Анфиса. – Я сама заработаю, увезу его в Крым. Может, там он хоть лишний год проживет. Уйду я от вас все равно. Сраму вам не миновать. Так и знайте!

Я начал догадываться, что происходит. За дверью в коридорчике кто-то тоже плакал и сморкался.

Я открыл дверь и при воровском блеске молнии увидел Полину. Она стояла, прижавшись лбом к стене, закутанная в длинную шаль.

Я тихо окликнул ее. Гром расколол небо и, казалось, одним ударом вогнал домишко в землю по самую крышу. Полина испуганно схватила меня за руку.

– Господи! – прошептала она. – Что же это будет? А тут еще такая гроза!

Она рассказала мне шепотом, что Анфиса полюбила всем сердцем Колю, сына вдовы Карповны. Карповна ходит по домам, занимается стиркой. Женщина она тихая, бессловесная. А Коля больной, у него туберкулез. Анфиса нравная, горячая, с ней никто не справится. Она или сделает по-своему, или наложит на себя руки.

Голоса за стеной неожиданно замолкли. Полина убежала к себе. Я лег, но долго прислушивался и не мог заснуть. У хозяев все было тихо. Тогда я задремал. Сквозь дремоту я услышал ленивые раскаты грома и лай собак. Потом я уснул.

Проспал я, должно быть, очень недолго. Разбудил меня сильный стук в дверь. Стучал хозяин.

– Беда у нас, – сказал он за дверью мертвым голосом. – Не взыщите, что беспокоил.

– А что случилось?

– Анфиса убежала. В чем была. Я пойду на Слободку, к Карповне. Наверное, она туда кинулась. А вы уж, пожалуйста, побудьте с моими. Жена лежит без памяти.

Я торопливо оделся, отнес хозяйке валерьянку. Полина окликнула меня, и я вышел с ней на крыльцо. Не могу объяснить почему, но я знал, что сейчас случится несчастье.

– Пойдемте на берег, – тихо сказала Полина.

– Фонарь у вас есть?

– Есть.

– Несите скорей.

Полина принесла тусклый фонарь, и мы спустились по скользкому обрыву к реке.

Я был уверен, что Анфиса где-то здесь, рядом.

– Анфиса-а-а! – вдруг отчаянно закричала Полина, и этот крик почему-то напугал меня. «Напрасно она закричала! – подумал я. – Напрасно!»

Молнии полыхали за рекой, уже обессиленные и тихие. Гром едва докатывался. В кустах на обрыве шуршали капли.

Мы пошли вниз по течению реки. Фонарь чуть светил. Потом прямо над головой небо загорелось от запоздалой молнии, и в ее свете я увидел, что впереди на берегу что-то белеет.

Я подошел к этому белому и нагнулся над ним. Я увидел платье Анфисы и ее сорочку. Тут же валялись ее мокрые туфли.

Полина закричала и бросилась назад, к дому. Я добежал до парома, разбудил перевозчика. Мы сели в дощаник и поплыли, все время пересекая реку от одного берега к другому и вглядываясь в воду.

– Нешто ночью найдешь, да еще при таком дожде! – говорил перевозчик и зевал – сон у него еще не прошел. – Пока не всплывет, все равно не сыщешь. Знать, и красивых смерть не щадит. Вот оно как, милый мой. Разделась, значит, чтобы легче было ей помирать. Ну и девица.

Нашли Анфису на следующее утро около плотины.

В гробу она лежала невыразимо прекрасная, со своими влажными, тяжелыми косами червонного золота и виноватой улыбкой на бледных губах.

Какая-то старушка сказала мне:

– Ты на нее не гляди, милый. Нельзя. Ведь это ж красота такая, что сердце невзначай разорвется.

Но я не мог не смотреть на Анфису. Впервые в жизни я сам оказался свидетелем той безмерной женской любви, которая сильнее смерти. До тех пор я читал о ней только в книгах и слышал о ней. Почему-то мне тогда подумалось, что такой любви больше всего отпущено на долю русских женщин.

На похоронах было много народу. Коля шел далеко позади – боялся родных Анфисы. Я хотел было подойти к нему, но он бросился от меня, свернул в переулок и исчез.

Все было перевернуто на сердце, и я не мог больше написать ни строчки. Пришлось переехать с окраины в город, вернее – не в город, а на станцию, в низкий, темноватый дом железнодорожного врача Марии Дмитриевны Шацкой.

Незадолго до смерти Анфисы я проходил через городской сад. Около летнего кино сидело на земле множество мальчишек. Они, видимо, чего-то дожидались и трещали, как воробьи.

Но вот из кино появился седой человек, роздал мальчишкам билеты, и они, теснясь и переругиваясь, ринулись в зал.

Судя по молодежному лицу, седому человеку было не больше сорока лет. Он добродушно прищурился, посмотрел на меня, помахал мне рукой и ушел.

Я решил разузнать у мальчишек, что это за чудак. Вошел в кино и просидел полтора часа на старой картине «Красные дьяволята», слушая свист, топанье, возгласы восторга и ужаса и сопенье мальчишек.

Когда сеанс окончился, я вышел вместе с ними и спросил, что это за седой человек покупал им билеты.

Тотчас вокруг меня собрался крикливый мальчишеский митинг, и все более или менее прояснилось.

Оказалось, что седой человек – брат железнодорожного врача Марии Дмитриевны Шацкой. Он больной, «тронутый мозгами». Получает от советского правительства большую пенсию. А за что – неизвестно. Раз в месяц, в тот день, когда ему приносят пенсию, он собирает всех станционных мальчишек и ведет их в кино.

Мальчишки точно знали, когда придет пенсия. В этот день они с раннего утра толклись около дома Шацкого, сидели в привокзальном палисаднике и делали вид, что очутились там совершенно случайно.

Вот все, что мне удалось узнать от мальчишек. Не считая, конечно, подробностей, не имевших отношения к делу. Например, что мальчишки из Ямской слободы тоже хотели примазаться к Шацкому, но станционные дали им сокрушительный отпор.

Моя хозяйка после смерти Анфисы так и не вставала с постели, все жаловалась на сердце. Однажды к ней пришел врач – Мария Дмитриевна Шацкая, и я с ней познакомился. Это была высокая, весьма решительная женщина в пенсне. До пожилых лет она сохранила внешность курсистки.

От нее я узнал, что брат ее геолог, что он психически болен и действительно получает персональную пенсию за свои научные труды, широко известные и у нас и в Европе.

– Незачем вам здесь жить, – тоном врача, не привыкшего к возражениям, сказала мне Мария Дмитриевна. – Скоро осень, польют дожди, тут будет непролазная слякоть. Да и обстановочка мрачноватая, куда тут работать! Переезжайте ко мне. У меня мать-старушка, брат да я, а квартира при станции в пять комнат. Брат деликатный человек и мешать вам не будет.

Я согласился и переехал к Марии Дмитриевне. Так я познакомился с геологом Василием Дмитриевичем Шацким – одним из будущих героев моей повести «Кара-Бугаз».

В доме было действительно тихо, даже как-то сонно. Мария Дмитриевна весь день пропадала в амбулатории и по больным, старушка-мать сидела за пасьянсом, а геолог редко выходил из своей комнаты. С утра он прочитывал от доски до доски газеты, потом почти до ночи что-то быстро писал, исписывая за

день толстую общую тетрадь.

Изредка с пустынной станции доносились гудки единственного маневрового паровоза.

Щацкий сначала дичился меня, потом привык и начал разговаривать. В этих разговорах выяснился характер его болезни. С утра, пока Щацкий не уставал, он был совершенно здоровым человеком и интересным собеседником. Он много знал. Но при малейшей усталости начинался бред. В основе этого бреда лежала маниакальная идея, но развивалась она с неумолимой логикой.

История болезни Щацкого описана в «Кара-Бугазе». Во время геологической экспедиции в Среднюю Азию он попал в плен к белым. Его вместе с остальными пленными каждый день выводили на расстрел. Но Щацкому везло. Когда расстреливали по счету каждого пятого, он оказывался третьим, когда каждого второго – он оказывался первым. Он уцелел, но сошел с ума. Сестра с трудом отыскала его в Красноводске, где он жил в разбитом товарном вагоне.

Каждый день к вечеру Щацкий ходил на ливенскую почту и сдавал заказное письмо в Совет Народных Комиссаров. По просьбе Марии Дмитриевны, начальник почты эти письма в Москву не отправлял, а возвращал ей, и она их сжигала.

Меня интересовало, что пишет Щацкий в этих своих донесениях. Вскоре я это узнал.

Как-то вечером он вошел ко мне, когда я лежал и читал. Мои туфли стояли около койки, носками к середине комнаты.

– Никогда так не ставьте туфли, – сердито сказал Щацкий. – Это опасно.

– Почему?

– Сейчас узнаете.

Он вышел и через минуту принес мне лист бумаги.

– Прочтите! – сказал он. – Когда кончите, то постучите мне в стенку. Я приду и, если вы чего-нибудь не поняли, объясню.

Он ушел. Я начал читать:

«В Совет Народных Комиссаров. Неоднократно я предупреждал Совет Народных Комиссаров о приближении грозной опасности, сулящей гибель нашей стране.

Всем известно, что в геологических пластах заключена мощная материальная энергия (как, например, в каменном угле, нефти, сланце). Человек научился освобождать эту энергию и использовать ее.

Но мало кто знает, что в этих же пластах спрессована и психическая энергия тех эпох, когда эти пласты слагались.

Город Ливны стоит на самых мощных в Европе толщах девонского известняка. В девонский период на земле только что зарождалось сумеречное сознание, жестокое, лишенное малейших признаков человечности. Тусклый мозг панцирных рыб был тогда преобладающим.

Эта зачаточная психическая энергия сконцентрировалась в моллюсках-аммонитах. Окаменелыми аммонитами буквально насыщены пласты девонского известняка.

Каждый аммонит – маленький мозг того периода и заключает в себе огромную и злую психическую энергию.

За много веков люди, к счастью, не научились освобождать психическую энергию геологических напластований. Я говорю «к счастью» потому, что эта энергия, если бы ее удалось вывести из состояния покоя, погубила бы всю цивилизацию. Люди, отравленные ею, превратились бы в жестоких зверей, и ими руководили бы только низменные, слепые инстинкты. А это означало бы гибель культуры.

Но, как я уже неоднократно сообщал Совету Народных Комиссаров, фашисты нашли способ развязывать психическую энергию девона и оживлять аммониты.

Поскольку самые богатые толщи девона лежат под нашими Ливнами, то именно здесь фашисты и собираются выпустить эту энергию. Если это удастся, то невозможно будет предотвратить моральную, а затем и физическую гибель всего человеческого рода.

План освобождения психической энергии девона в районе Ливен разработан фашистами до мельчайших подробностей. Как все сложнейшие планы, он легко уязвим. Стоит не предусмотреть пустую мелочь – и план сорвется.

Поэтому, помимо необходимости немедленно окружить Ливны крупными воинскими соединениями, следует дать строжайшее распоряжение жителям города, чтобы они отказались от привычных поступков (поскольку план фашистов рассчитан именно на привычное течение жизни в Ливнах) и совершали бы поступки как раз обратные тем, каких могли бы ожидать фашисты. Поясню это примером. Все граждане Ливен, ложась спать, ставят свою обувь около постели носками к середине комнаты. Впредь следует ставить ее носками к стене. Именно эта частность, возможно, не предусмотрена планом, и от такого, в сущности, пустяка он будет сорван.

Должен добавить, что естественное (правда, ничтожное) просачивание психической заразы из пластов девона в Ливнах приводит к тому, что нравы этого города гораздо грубее, чем в других такого же размера и типа городах. Три города стоят на толщах девонского известняка: Кромы, Ливны и Елец. Недаром о них существовала старая поговорка: «Кромы – всем ворах хоромы, Ливны – ворами дивны, а Елец – всем ворах отец».

Эмиссаром фашистского правительства в Ливнах является местный аптекарь».

Теперь мне стало ясно, почему Шацкий повернул мои туфли носками к стене. Вместе с тем мне стало жутко. Я понял всю непрочность спокойствия в семье Шацких. Каждую минуту можно было ждать взрыва.

Вскоре я заметил, что эти взрывы случались не так уж редко, но мать Шацкого и Мария Дмитриевна умели скрывать их от посторонних.

На следующий вечер, когда все мы сидели за чайным столом и мирно разговаривали о гомеопатии, Шацкий взял крынку с молоком и спокойно вылил

молоко в самоварную трубу. Старушка-мать вскрикнула. Мария Дмитриевна строго посмотрела на Шацкого и сказала:

– Ты чего чудишь?

Шацкий, виновато улыбаясь, начал объяснять, что именно такой дикий поступок с молоком и самоваром наверняка не предусмотрен фашистами в их плане и потому, конечно, разрушит этот план и спасет человечество.

– Иди к себе! – так же строго сказала Мария Дмитриевна, встала и с сердцем открыла настежь окна, чтобы выпустить из комнаты чад пригорелого молока.

Шацкий, опустив голову, покорно ушел к себе.

Но в свои «ясные часы» Шацкий охотно и много говорил. Тогда-то я и узнал, что он больше всего работал в Средней Азии и был одним из первых исследователей Кара-Бугазского залива.

Он обошел его восточные берега. В то время это считалось предприятием почти смертельным. Он описал их, нанес на карту и открыл в сухих горах вблизи залива присутствие каменного угля.

От Шацкого я впервые узнал о Кара-Бугазе – устрашающем и загадочном заливе Каспийского моря, о неисчерпаемых запасах мирабилита в его воде, о возможности уничтожения пустыни.

Пустыню Шацкий ненавидел так, как можно ненавидеть только живое существо, – страстно и неумолимо. Он называл ее сухой язвой, струпом, раком, разъедающим землю, непонятной подлостью природы.

– Пустыня умеет только убивать, – говорил он. – Это смерть. Человечество должно понять это. Если оно, конечно, не спятило с ума.

Странно было слышать такие слова от сумасшедшего.

– Ее надо скрутить в бараний рог, не давать ейдохнуть, бить ее непрерывно, смертельно, беспощадно. Бить без усталости, пока она не сдохнет. И на ее трупе

вырастить влажный тропический рай.

Он разбудил во мне дремавшую ненависть к пустыне – отголосок моих детских переживаний.

– Если бы люди, – говорил Шацкий, – потратили на истребление пустыни только половину средств и сил, какие они тратят на взаимное убийство, то пустыня давно бы исчезла. Войне отдают все народные богатства и миллионы человеческих жизней. И науку и культуру. Даже поэзию сумели сделать сообщницей массовой резни.

– Вася! – громко сказала из своей комнаты Мария Дмитриевна. – Успокойся! Войны больше не будет. Никогда.

– Никогда – это ерунда! – неожиданно ответил ей Шацкий. – Не дальше как сегодня ночью оживут аммониты. И знаете где? Около Адамовской мельницы. Пойдемте прогуляемся и проверим.

Начинался бред. Мария Дмитриевна увела брата, дала ему «бехтеревки» и уложила в постель.

Мне же хотелось поскорей закончить роман, чтобы начать новую книгу об уничтожении пустыни. Так появился еще неясный замысел «Кара-Бугаза».

Из Ливен я уехал поздней осенью. Перед отъездом я пошел к прежним хозяевам попрощаться.

Были сумерки. Лед трещал в колеях. Сады почти осыпались, но кое-где еще висели на яблонях сухие розовые листья. В застывшем небе гасло последнее облако, освещенное холодным закатом.

Полина шла рядом со мной и доверчиво держала меня за руку. От этого она казалась мне маленькой девочкой, и нежность к ней – одинокой и застенчивой – заполнила мое сердце.

Из городского кино долетала заглушенная музыка. В домах зажигались огни. Самоварный дымок висел над садами. За голыми ветками деревьев уже

блестели звезды.

Непонятное волнение сжало мне сердце, и я подумал, что ради этой прекрасной земли, даже ради одной такой девушки, как Полина, нужно звать людей к борьбе за радостное и осмысленное существование. Все, что угнетает и печалит человека, все, что вызывает хотя бы одну слезу, должно быть вырвано с корнем. И пустыни, и войны, и несправедливость, и ложь, и пренебрежение к человеческому сердцу.

Полина дошла со мной до первых городских домов. Там я попрощался с ней. Она потупилась, начала расплетать свою русую косу и неожиданно сказала:

– Я буду много читать теперь, Константин Георгиевич.

Она подняла смущенные глаза, протянула мне руку и быстро пошла домой.

Я ехал в Москву в переполненном жестком вагоне.

Ночью я вышел покурить в тамбур, опустил окно и высунулся наружу.

Поезд несся по насыпи сквозь облетевшие леса. Их почти не было видно. Они больше угадывались по звуку – по тому торопливому эху, которое рождал в их чащах грохот колес. Воздух, будто остуженный на зернистом снегу, веял в лицо запахом подмерзшей листвы.

А над лесами мчалось, не отставая от поезда, дымясь от нестерпимо ярких звезд, осеннее полуночное небо. Коротко гремели мосты. Несмотря на быстрый ход поезда, можно было заметить под ними мгновенные отблески звезд в темной – не то болотной, не то речной – воде.

Поезд грохотал, гремел, в пару, в дыму. Пылали, догорая, свечи в дребезжащих фонарях. За окнами пролетали по траектории багровые искры. Паровоз ликующе кричал, опьяненный собственным стремительным ходом.

Я был уверен, что поезд мчит меня к счастью. Замысел новой книги уже роился у меня в голове. Я верил в то, что напишу ее.

Я пел, высунувшись из окна, какие-то бессвязные слова о ночи, о том, что нет на свете милее края, чем Россия. Ветер щекотал лицо, как распутившиеся душистые девичьи косы. Мне хотелось целовать эти косы, этот ветер, эту холодную родниковую землю. Но я не мог этого сделать и только бессвязно пел, как одержимый, и удивлялся красоте неба на востоке, где проступала очень слабая, очень важная синева.

Я удивлялся прелести неба на востоке, его чистому, слабому сиянию, пока не сообразил, что это занимается новая заря.

Все, что я видел за окном, и весь тот хаос радости, что бился в груди, соединились непонятным для меня образом в решении – писать, писать и писать!

Но о чем писать? В тот миг для меня было безразлично, вокруг чего соберутся, к какой теме будут притянуты, как магнитом, мои мысли о прелести земли, мое страстное желание оградить ее от истощения, чахлости и смерти.

Через некоторое время эти мысли вылились в замысел «Кара-Бугаза». А могли вылиться и в замысел какой-нибудь другой книги, но обязательно наполненной тем же главным содержанием, теми же чувствами, что владели мной в то время. Очевидно, замысел почти всегда исходит из сердца.

С тех пор началась новая полоса жизни – так называемое «вынашивание» замысла, вернее – наполнение его реальным содержанием.

Изучение географических карт

В Москве я достал подробную карту Каспийского моря и долго странствовал (в своем воображении, конечно) по его безводным восточным берегам.

Еще в детстве у меня появилось пристрастие к географическим картам. Я мог сидеть над ними по несколько часов, как над увлекательной книгой.

Я изучал течения неведомых рек, прихотливые морские побережья, проникал в глубину тайги, где маленькими кружочками были отмечены безыменные фактории, повторял, как стихи, звучные названия – Югорский Шар и Гебриды, Гвадаррама и Инвернесс, Онега и Кордильеры.

Постепенно все эти места оживали в моем воображении с такой ясностью, что, кажется, я мог бы написать вымышленные путевые дневники по разным материкам и странам.

Даже мой романтически настроенный отец не одобрял этого чрезмерного увлечения географическими картами.

Он говорил, что оно сулит мне много разочарований.

– Если жизнь сложится удачно, – говорил отец, – и ты сможешь путешествовать, то наживешь себе одни огорчения. Ты увидишь совсем не то, что выдумал. Например, Мексика может оказаться пыльной и нищей страной, а небо над экватором – серым и скучным.

Я не верил отцу. Я не мог представить, чтобы экваториальное небо бывало хоть когда-нибудь серым. По-моему, оно было таким густым, что даже снега на Килиманджаро приобретали его индиговый цвет.

Но как бы то ни было, я ничего не мог поделать с этим увлечением. А потом, в зрелом возрасте, для меня с очевидностью выяснилось, что отец был не совсем прав.

Когда я впервые попал, например, в Крым (его я до того вдоль и поперек изучил по карте), то, конечно, он оказался совсем другим, чем я о нем думал.

Но мое предварительное представление о Крыме заставило меня увидеть его с гораздо большей зоркостью, чем если бы я приехал в Крым без всякого понятия о нем.

На каждом шагу я находил то, чего не было в моем воображении, и эти новые черты Крыма особенно хорошо запоминались.

Мне кажется, что так же велика и роль нашего заочного «знакомства» с некоторыми людьми.

У каждого есть свое представление, скажем, о Гоголе. Но если бы могло случиться так, что мы увидели его в жизни, то заметили бы много черт, не совпадающих с нашим представлением о нем. И именно эти черты свежо и сильно врезались бы в память.

А если бы этого предварительного представления не было, то, может быть, мы многого и не заметили бы в Гоголе и он оставался бы для нас совершенно обычным человеком.

Мы привыкли представлять себе Гоголя несколько унылым, мнительным и флегматичным. Поэтому мы сразу заметили бы те его качества, которые далеки от этого образа, – блеск глаз, живость, даже некоторую вертлявость, смешливость, изящество одежды и сильный украинский акцент.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://telnovel.me/ru/konstantin-paustovskiy/zolotaya-roza>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)